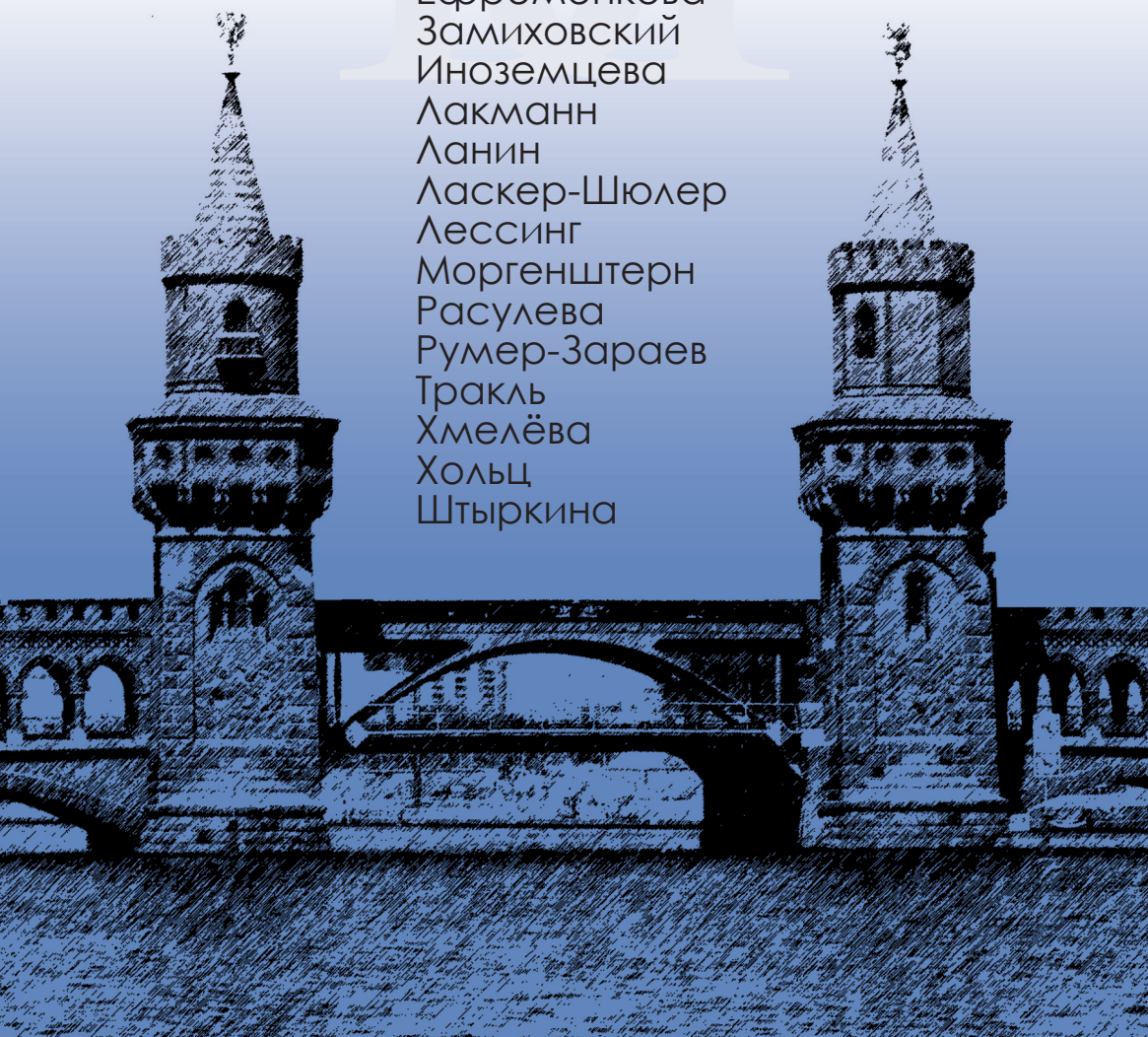


Приложение к журналу

БЕРЛИН.ДЕРЕГА

зима 2017

Аросев
фон Гофмансталь
Гринвальд
Грицкий
Дельфинов
Ефременкова
Замиховский
Иноземцева
Лакманн
Ланин
Ласкер-Шюлер
Лессинг
Моргенштерн
Расулева
Румер-Зараев
Тракль
Хмелёва
Хольц
Штыркина



Содержание

АЛЕКСАНДР ДЕЛЬФИНОВ, стихи.....	3
НАТАЛЬЯ ХМЕЛЁВА, стихи	5
АНАТОЛИЙ ГРИНВАЛЬД, стихи.....	7
ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ ЛЕССИНГ, стихи в переводе Анатолия Замиховского	9
ЭЛЬЗА ЛАСКЕР-ШОЛЕР, стихи в переводе Александра Лакманна.....	10
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ, Шампанское марки «Их штербе», повесть	11
ДМИТРИЙ ГРИЦКИЙ, стихи.....	31
ОЛЬГА ШТЫРКИНА, стихи.....	33
ГЕОРГ ТРАКЛЬ, стихи в переводе Александра Лакманна.....	35
ГУГО ФОН ГОФМАНСТАЛЬ, стихи в переводе Анатолия Замиховского	36
ДИНАРА РАСУЛЕВА, Две ложки Бутульмы, рассказ	37
ЮЛИЯ ЕФРЕМЕНКОВА, Тимофей Гришин, рассказ	41
ЕЛЕНА ИНОЗЕМЦЕВА, стихи.....	45
АЛЕКСАНДР ЛАНИН, стихи.....	47
АРНО ХОЛЬЦ, стихи в переводе Александра Лакманна.....	49
КРИСТИАН МОРГЕНШТЕРН, стихи в переводе Александра Лакманна.....	50
ГРИГОРИЙ АРОСЕВ, Лёд, рассказ	51

Александр ДЕЛЬФИНОВ

Заброшенный парк

В заброшенном парке отдыха хлещет дождь,
Аттракционов ржавая перспектива.
Мышь возле лужи, как венецианский дож
На берегу залива.
Где карусель покосилась, там вздыблен грунт,
Капают капли во глубину Аида.
Против деревьев затеяли листья бунт,
Их велика обида:
Как ни старайся, на ветках под ветра свист —
Всё получает ствол. «Так его мы скосим!..»
Храбро желтеет в сражении с ливнем лист,
Но побеждает осень.
Плащ мой промок, сигареты в кармане — ёк,
Спички сырые. Сквозь дождевую стену
Я Афродиту варут трогаю между ног,
Но нахожу лишь пену.
В заброшенном парке выполнен мой каприз —
Кровью дриада страсть в темноте накормит:
Нежно меня зацелуют, затянут вниз,
Заобнимают корни.

Простые вещи

Простые вещи: дерево сухое,
Уснувший кот, вечерняя звезда —
Перечислять я мог бы и другое,
Но ключевое слово «простота»,
Которая охватывает плотно
Сознание и сердце теплотой, —
Являются внезапно и свободно,
Пространство формулируя собой,
И удивительно — спустя порою годы
Кота уснувшего, вечернюю звезду,
Сухое дерево припомнишь вновь легко ты,

И прочую такую ерунду.
Когда беда ложится вдруг на плечи,
И серых дней печален сериал,
С тобой живут твои простые вещи —
Поэзии живой материал.

Прозрачный гражданин

Прозрачный гражданин шагает по проспекту,
Невидимый почти стороннему субъекту,
В толпе он знает толк.
Не потому, что злой, не потому, что вредный,
А просто чересчур теряющийся, бледный,
Костями щёлк да щёлк.

Прозрачный гражданин проходит в дамки пашкой,
Он выглядеть бы мог красавчиком и няшкой,
Да образа лишён,
Ныряет в мой подъезд, к моей стремится двери,
Хоть не терял лица, в него никто не верит,
И вот в жилище он.

Прозрачный гражданин колышется напротив,
Похоже, я сожрал неправильный наркотик,
Да, я конкретно влип,
И вытесняет вдруг пустеющее место
Присутствие моё отсутствием контекста -
Лютующий *bad trip*.

Прозрачный гражданин всё ближе, ближе, ближе,
Он плещется во мне, как звёзды в лунной жиже,
Он в печени, поверь!
И вот я остаюсь, прозрачнее водюни,
А он уходит прочь, мясной и вечно юный,
Захлопывая дверь.

Наталья ХМЕЛЁВА

* * *

Мне нужно выстоять январь,
как продавец стоит на рынке,
передвигая инвентарь,
и даром раздаёт пылинки,
в сусальном золоте луча
пробившиеся под навесом —
как козаки, как янычары,
как прах, кочующий над лесом
голов, повернутых к лоткам,
локтей воинственно-упрямых...
Уйдут пылинки с молотка,
осядут на травинках пряных,
и я почти расцеловать
готова каждого, кто паром
из лёгких выдохнет слова,
что он существовал не даром.
Так вор, когда дрожит зима,
крадётся тихо за старушкой,
и опускает ей в карман
большое яблоко в веснушках.

Попробуй

Хранится вечно не пыльца
долин цветочных,
А то, что вырвалось в сердцах
и между строчек,
И речь рождается не там,
Где могут слышать,
А где Иов терял стада
и спор не вышел,
Где возведённый в слово страх
Съедает недра
Земли, потерянной в мирах,
Пустой от ветра.

Попробуй что-нибудь сказать —
Как будто другу,
Как будто есть что-либо за
Пространством звука.

Открытие

Пишу, мой друг, сказать тебе о том,
как через три весны меня с трудом
узнаешь в лекционном тёмном зале;
как плыл в другой галактике мой дом,
а в этой - гондольер покрылся льдом,
и в воздухе каналы замерзали,
как в сонном зале жила... (По чьей вине
твой цвет лица из года в год — блее?!)
...в слиянии умов и в томной лени.
Но тихо- тихо, медленно во мне
ты станешь тем, что предают земле,
и я освобожусь от наваждений.
Услышит Дева голос или нить
утратит вдруг сновидец твой уставший —
тогда придёт пора переродить
иную плоть - отличную от нашей.

Анатолий ГРИНВАЛЬД

Дважды рождённый

Весь мир лежит в оргазме, а я — Будда,
 Но мне не одиноко, как ни странно...
 Я в тысяче смертей свой след запутал,
 Но вот нашёл себя в китайском ресторане.
 Здесь пиво так себе, а китайянки
 С раскосыми и длинными глазами,
 Но — Будда я... мои ржавеют танки,
 И все солдаты вымерли в казармах.
 Я не возьму Пекин сегодня ночью —
 Я с дьяволом сошёлся на Вселенной —
 Пекин, Москва — ему — здесь многоточье...
 А мне — тоски... Космической... Осенней...
 А мне — котомку в руки Пилигрима,
 И ничего взамен — ни слёз, ни жалости...
 И чтобы Звёзды и Вселенная — без грима.
 И чтобы так темно, чтоб Свет рождался.
 Я Будда. Я — непопулярный блоггер...
 Нас — тьмы и тьмы, ушедших за рассветом —
 Нам разглядеть его мешают бандерлоги,
 Или ворота, с надписью «Освенцим».
 Я Будда. Как хочу, пусть так свершится —
 Не верь, не бойся, не проси, не кайся...
 И с клёнов опадают пусть страницы,
 И подпись на листках: Малыш и Карлсон.

Лето. Без грима

Рабам не нужна Свобода,
 В неё не откроют визу.
 Рабам наплевать на Бога,
 Рабам нужен телевизор —
 И ложь внутривенно, наружно:
 Вагонами и мешками...
 И Сердце рабам не нужно —
 Оно слишком часто мешает.

Рабы не покинут галеры —
Тяжёлая плеть у владыки...
Рабам нужна только вера,
Что рабство их будет великим.
 И в прошлом сомненья излишни —
 Как прежде, так в эту эпоху,
 Рабы распинают ближних
 Во имя распятого Бога.
Весь мир — лишь огромное зеркало —
Предмет не удобный для быта...
А Бог обитает не в церкви,
Он в сердце — рабами забытый.
 Он прячется, так и знайте —
 Бойтся предстать перед вами...
 Ведь если он будет найден,
 То будет распят рабами.

Бермудский треугольник

истосковался по чернилам
а ты меня недочинила
я по листу и мне всё мало
а ты меня недоломала
такой жестокий этот спорт —
недораспят — и свет из пор
недопила со мной абсент
недосказала что нас нет
что есть лишь инстаграм и гугл
и мент скучает на углу
и я уйду опять в запой
недорисованный тобой
и будет свет и будет бог
и на одной ноге сапог
второй не в силах уже снять
стоп камера. сюжет отснят.
не нужно титров и речей
не нужно понятий, врачей
лишь тишину... я к ней готов —
к молчанию в сто мегатонн.

Gotthold Ephraim Lessing / Готхольд Эфраим Лессинг

Перевод: Анатолий Замиховский

Ich / Я

Die Ehre hat mich nie gesucht;
Sie hätte mich auch nie gefunden.
Wählt man, in zugezählten Stunden,
Ein prächtig Feierkleid zur Flucht?

Auch Schätze hab ich nie begehrt.
Was hilft es sie auf kurzen Wegen
Für Diebe mehr als sich zu hegen,
Wo man das wenigste verzehrt?

Wie lange währt's, so bin ich hin,
und einer Nachwelt untern Füßen?
Was braucht sie wen sie tritt zu wissen?
Weiß ich nur, wer ich bin.

Что до признания, оно
Меня особо не искало.
А если бы искать и стало,
То вряд ли где-нибудь нашло.
Век краток, будет ли к лицу
Рядиться пышно беглецу?

Богатств я равно не стяжал,
В них не великая подмога:
Потратишь на себя немного —
Уже их кто-нибудь украл.

Недолго часа ждать, когда
Мне под ногами у потомков,
Среди былых эпох обломков
Уснуть придётся навсегда.

Не всё ли им равно, чей прах
Топтать? К чему мне слава?
Бриллианта медная оправка
Нелепа на моих руках.

Else Lasker-Schüler / Эльза Ласкер-Шюлер

Перевод: Александр Лакманн

Nachweh / Болезнь

Weisst Du noch als ich krank lag,	Знал бы ты, как больна была я,
So Gott verlassen —	И богом оставлена —
Da kamst Du,	Но пришёл ты
Es war am Herbsttag,	Осенним полднем.
Der Wind wehte krank durch die Gassen.	Злобно ветер игрался ставнями.
Zwei kalte Totenaugen	Глаза мертвеца не так бы
Hätten mich nicht so gequält,	Меня напугали,
Wie Deine Saphiraugen,	Как сапфиры взглядов твоих,
Die beiden brennenden Märchen.	Две сказочных дали

Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ

Шампанское марки «Их штербе»

Повесть

После смерти Зары, Дане снился один и тот же сон. Он слышит дыхание жены, видит, как подрагивают веки, как ходят под ними тени снов, как горестно сжимаются и шепчут что-то губы. С мучительно резкой внимательностью он всматривается в её лицо и вдруг видит, как оно каменеет, застывает, обостряются черты, жизнь под веками, под кожей прерывается, куда-то уходит. Она умерла. И тут он просыпается и понимает, что она действительно умерла. Её нет уже давно и невозможно понять, где она. Должна же она где-то быть. Даня лежит в холоде и темноте ночи, не чувствуя присутствия жены. Её нет нигде.

Теперь они жили вдвоём с Сенькой в двухкомнатной квартире в доме, расположенном по соседству со знаменитой берлинской тюрьмой Моабит. Даня вёл хозяйство — готовил, прибирал, покупал продукты. Уходя вечерами, он оставлял сыну ужин, закутанный в старое ватное одеяло. Можно было купить термос, но так делала Зара, когда он в Москве поздно приходил из института. Казалось, что кастрюля в одеяле лучше сохраняет живое тепло еды, особенно той простой еды, которую готовил Даня — борща, тушёного мяса с картошкой, гречневой каши. Сын вяло принимал его заботы. Он как-то потускнел после смерти матери, стал молчалив, никуда не ходил, разве, что иногда ночевал у своей фройндин — простоватой русской немки, работавшей вместе с ним в компьютерной фирме.

Берлин принял Даню в своё лоно, как никогда не принимала Москва. В Москве всё, что наполняло его существование, было плотно пригнано друг к другу как кирпичи в стене — работа, дружеские связи, бытовые дела. Он ездил по привычным маршрутам, не видя ни улиц, ни людей. И улицы, и люди были частью его самого, неосязаемые, как воздух, которым дышишь. Он жил в замкнутом пространстве своих дел, мыслей и отношений. В Берлине всё разомкнулось, распалось, и Даня остался наедине с городом.

Он унаследовал от Зары необременительную службу, вернее приработок, отнимавший несколько часов в день. Служба состояла в просмотре русскоязычных газет и журналов и отыскивании в них сюжетов для небольших и по возможности занимательных компилятивных статей, которыми он под разными псевдонимами заполнял рекламный еженедельник. В соседней комнате

ссорились или ворковали по телефону рекламные агенты — бойкие средних лет дамы, которые, собственно говоря, и являлись главными фигурами в этом издании, приносящим некоторую прибыль за счёт их предприимчивости. Имелся ещё хозяин — ласковый прижимистый хохол. Но в редакцию он заходил редко, будучи занят другими своими предприятиями — туристическим бюро, продуктовым магазином, залом игровых автоматов.

Отстучав на компьютере пять-шесть тысяч знаков, Даня уходил на улицу, часами бродил среди лепных фасадов центра, унылых бетонных кубов предместья, фруктовых натюрмортов прилавков, тендов витрин, скверов с позеленевшими памятниками, парков с бегунами и сонными бомжами на скамейках. В дешёвой харчевне можно было съесть донеркебаб — толстую лепёшку, набитую овощами и бараниной, выпить банку пива.

Дома он лежал на узком диване в полудремоте, населённой звуками законного мира — щебетом чёрных дроздов, переключкой детей, грохотом крышки мусорного контейнера — и образами прошлой жизни — лицами и голосами забытых, а подчас и умерших людей, отрывками песенных мелодий, дворами его детства. Всё это пылало, смешивалось, опускало в сон, глубокий, но не освежающий.

Он унаследовал от жены не только газетную службу, но и пёструю амальгаму её религиозно-философских интересов вместе с сюжетами, занимавшими Зару всю жизнь. Среди этих сюжетов была прижизненная и посмертная судьба Моше де Леона. Из привычного ему русского религиозного философствования Даня уходил в словно бы завещанную женой иудаику: от Владимира Соловьёва и Сергея Булгакова к туманным смыслам «Зогара». И вызовом прошлого, чередой совпадений, вносящих в жизнь мистическую динамику, потянулась в его берлинской жизни история Иоганна Шуберта с её случайными встречами и трагическими приключениями мысли.

Всё началось с Лени Рифеншталь. Потсдамский киномузей устраивал просмотр её «Триумфа воли», этого зловещего киноотчёта о нацистском рейхспартайтаге в Нюрнберге, увенчанного в своё время международными наградами, растасканного по киноцитатам. Даня видел этот фильм в середине девяностых в Москве на фестивале кинематографа тоталитарной эпохи. Там одновременно крутили «Путёвку в жизнь» и «Юный гитлеровец Квекс», «Музыкальную историю» и «Придворный концерт», упиваясь сопоставлениями: «А у нас, а у них...»

Теперь Даня решил посмотреть «Триумф» во второй раз. У входа в готическое здание музея стояла толпа. Билетов не было. Даня показал визитку своего еженедельника. Это подействовало, пропустили бесплатно, принесли

приставной стул. И он сидел два часа, запрокинув голову перед огромным экраном, оглушённый, парализованный взрывами ликования человеческих масс, волнами обожания, гипнотической власти и вообще всего этого толпового антуража, который его и мучил, и завораживал одновременно.

На следующий день была пресс-конференция самой Лени, которая оказалась жива и в свои девяносто семь выглядела женщиной — с живыми острыми глазами и фигурой, сохранившей женскую статью. Она сразу же отсекла, видимо, привычное ей — спала ли она с фюрером: «Нет, не спала». И в остальном отвечала точно и жёстко, уходя только от одного основного вопроса: соблазн был или принуждение в её неистовом воспевании нацизма.

В пятидесятые годы она много ездила по Африке, в залах киномузея висели её огромные нубийские снимки — красные скалы, песок, голые, словно высеченные из коричневого камня люди. И всё это — племенные ритуалы, мускулистые тела, кровь, страсть, драки — в животной первооснове бытия сходилось, сплеталось с тем, что пленяло её в молодости — крепкие свежестриженные затылки, литой упругий шаг парадов, восторженный рёв толпы и ласковое прозрачное безумие в глазах фюрера.

После просмотра Дания вышел в ночь, в дождь, в прусско-гэдэровскую глухомань, где старинные обветшавшие дворцы соседствовали с блочно-панельным жильём, своей пресностью и выхолощенностью напоминавшим городские окраины его прежней московской жизни.

Сразу же потеряв ориентировку, он спросил у благообразного пожилого немца, где вокзал. Тот повёл рукой и спросил, откуда он? Из России? И дальше потекла русская речь, но не с привычной здесь южнороссийской скороговоркой, с хамским фрикативным хканьем, а с грассированием и пришепётыванием, то ли арбатским, то ли петербургским, а может, ни с тем, ни с другим, а просто сказалось наложение лёгкого европейского акцента, давшего в сплаве с московским произношением эффект старинной интеллигентности.

— Откуда у вас такой русский?

— Я профессиональный переводчик.

В свете и тепле вагона, увозившего их из Потсдама в Берлин, говорили о некрофильской теории Эриха Фромма и других фрейдистских попытках объяснить природу личности Гитлера. Некий Лангер считал, что фюрер в детстве наблюдал половой акт родителей и это способствовало развитию у него эдипова комплекса, оказавшего решающее воздействие на его характер.

Сидя друг против друга в пустом ночном вагоне, они воображали себе квартиру австрийского таможенного чиновника конца девятнадцатого века, ребёнка, стоявшего босиком на холодном полу и подглядывавшего в дверную щель родительской спальни, и те роковые последствия, которые произошли

вследствие этого подглядывания — от восторженного неистовства толпы, запечатлённого Лени Рифеншталь, до мировой войны и Холокоста.

Они иронизировали над вульгарным детерминизмом, заложенным в этой причинной связи событий, и эта ирония сближала их. Последовал обмен визитками.

— Тарбовский, — медленно прочитал Иоганн Шуберт. — Я знаю вас.

— Откуда?

— От Гонсовского.

— Но Гонсовский умер десять лет назад.

И уже произнеся эти слова, Даня внутренне ахнул от очередной причуды судьбы, от мгновенно представившейся ему сцены, высветившейся в коридоре времени, промельком блеснувшего во всех подробностях воспоминания.

— Тебе будет тоскливо всё время в сапогах и при шашке. Я же знаю, видел, был — тосты за фройндшафт, речи, приёмы, музень, — с обычной своей тягучей и ленивой насмешливостью говорил друг детства, в те семидесятые годы начинающий классик, провожая Даню в первую его зарубежную поездку в ГДР. — Дам-ка я тебе телефон своего переводчика. Наш человек, он тебя сводит куда-нибудь, с ним можно говорить обо всём.

— Так уж и обо всём?

— Ну, во всяком случае, о многом.

Возможно ли в четырёхмиллионном городе встретить человека, которого однажды видел тридцать лет назад? Сколько совпадений должно было произойти, чтобы в этой дождливой ночи Даня именно у Шуберта спросил дорогу к вокзалу.

Брезжилось — Восточный Берлин семидесятых, напоминавший благообразные Черёмушки, холостяцкая однокомнатная квартира на верхотуре огромного панельного дома, крупное, хорошо вылепленное лицо, очертания которого угадывались в расплывшемся старческом лице его нынешнего спутника. Сборы куда-то: «Мы пойдём туда, где танцуют», — и всё вертелся у зеркала, надевая рубашку, поворачиваясь и так и эдак, проверяя на ощупь гладкость выбритых щёк, — статный высокий ариец.

«Мы пойдём туда, где танцуют», — многообещающая таинственность была в этой искусственной, словно переведённой на чужой язык фразе. Дане мнилась чужая жизнь, пёстрая компания, женщины, чад пьянки. Пришли же в ресторан, где он днём обедал с группой. Вечером там играл оркестр и уныло крутились две немолодые пары.

— У нас другие нравы, — сказал Иоганн, видимо, ощутив разочарование Дани. — А в Доме литераторов у нас не пьют, а проводят собрания.

Сын непроницаемо выслушал рассказ вплоть до последней реплики: «Так и живёт в той же квартире, всю жизнь один, без семьи, уж не гомик ли?» — и затем сказал: «Ну, почему же гомик? Ты же помнишь суку Гретхен, которая пыталась подбросить ему их ребёнка?»

— Какую суку Гретхен, что ты несёшь?

— Ну, как же, Гонсовский ведь тебе рассказывал, как встретил его в Берлине с малышом и тот сказал: «Вот ведь Гретхен, сука, уехала отдыхать, а мне своего щенка подбросила».

— Как ты можешь это помнить? Тебе ж самому лет восемь было.

— Потому и помню. А как он говорил Гонсовскому: «Вот вы русские, широкий народ, деньги тратите без счёта — кабаки, выпивки... А я, знаешь, сколько у меня этих марок, а ведь каждый раз как рассчитываюсь в ресторане, мучаюсь. Сам себя презираю, но ничего не могу поделать».

Он даже интонацию, нет, не Шуберта (Гонсовский, видно, не мог воспроизвести пришепётывающую мягкую речь Шуберта), а самого Гонсовского — иронически медлительную, хамоватую — воспроизвёл.

— Послушай, как это может быть? — воскликнул Дания. — Ведь тридцать лет назад это было.

— Говорю ж тебе, помню.

А Дания ничего не помнил, никаких таких рассказов Гонсовского, который уже десять лет лежал под мраморной плитой в Кунцево и оттуда, из могилы, подавал голос, создавая образ человека в рассказе, некогда услышанном ребёнком и с фотографической точностью запечатлённом в детской памяти. Этот голос и этот образ доходили из прошлого, завязывая очередной узел сюжета, уходящего своими истоками в давнюю-предавнюю поездку Дании на Кавказ.

Империя была так огромна, вмещала в себя столько этносов, что в ней легко мог затеряться целый народ. Однажды на самой её окраине, на границе Азербайджана с Ираном, Дания обнаружил доселе неизвестную ему национальность.

— Талыши.

— Латыши? — переспросила Зара.

— Да нет же, талыши. Они не турки, в отличие от азербайджанцев. Ближе к персам, фарси. Свой язык, культура, религия, они как иранцы — шииты. Было такое талышское ханство, куда с Дона, с Волги делали набег казаки. «И за борт её бросает...» Может, это как раз талышская княжна была. Они красивые — талышки. Глаза глубокие такие, прямо чёрные бездны...

— Ты уж со второй рюмки сразу о женских глазах, — с ревнивой иронией сказала Зара. — Не пей больше.

Он и не пил. Своё брал в командировках.

Шашлычная была в горах — сарайчик, прилепившийся на склоне. У входа с библейской простотой валялась окровавленная баранья шкура. Подавали дымящееся мясо, острый творог, сладкий перец. За спиной буфетчика висел портрет Сталина на большом фаянсовом блюде.

— Здесь всё свежий, — сказал Чингиз. — Здесь бывают большие люди.

Он и сам был большим человеком по местным меркам — директор совхоза — один из отцов народа. Сухонький, важный, запахивающийся словно в халат в синий габардиновый плащ, он хриплым шёпотом рассказывал, как их, тальшей, сживают со света: лишили национальных школ, клубов, газеты, записывают в паспортах азербайджанцами.

— Ну, зачём, зачём? — страстно шептал Чингиз. — Ну, глупость же... Сами нас толкают к Ирану, к единоверцам нашим. И так молодёжь слушает иранское радио, воспитывается на нём. Дали бы автономно, всё было бы по-другому.

Отговорив, успокоившись, он медленно пережёвывал мясо, косясь на соседний столик, где играли в нарды. Даня знал, что его спутник считается одним из лучших в городе игроков в нарды, и как ему, верно, хотелось в эту беззаботную компанию, к стуку костяшек, к азартному перебрасыванию фишек.

Когда унесли кости и стали готовить стол к чаю, Даня ополоснул пальцы и вышел на площадку перед входом в шашлычную. Она висела в пустоте, в режущем лёгкие чистом холодном воздухе. На горизонте виднелось море. От него склон отделяла полоса предгорий, густо заросших лесом долин и ущелий с каменистыми руслами высохших речек.

А позади шла своя воскресная жизнь. Подростки с красиво прорисованными глазами качались на ветвях огромного дуба. В шашлычной игроки почтительно расступались, пропуская к столу Чингиза, и народная баталия пошла с новой силой. Официант наливал в грушевидные стаканчики коричневый чай.

— К тебе ходок, — сказал Дане сосед по кабинету, показывая на окно. — Он звонил, тебя не было, я просил подождать.

За окном на февральском московском ветру ёжился представительный восточный человек, зятый в тёмный импортный плащ. У его ног стоял огромный портфель с крохотной авоськой, привязанной к ручке.

Ходоки — это расплата всех, кто ездит из Москвы, из всяких её

властных или, во всяком случае, представляющихся там, на местах властными учреждений по просторам империи. Расплата за близость к власти; за то, что ты с ласковой снисходительностью и всеведением ходишь по заводам и колхозам в сопровождении начальников, расспрашивая о том о сём, пытаясь влезть в душу расспрашиваемых, а потом, когда они остаются при своём галерном деле, ты уходишь с начальниками пировать, и с тобой они любезны, милы, доверительны, а с подчинёнными — жестки, холодны, суровы; за то, что ты, чтобы ты там про себя не думал, — с этой сучьей властью, её прихлебатель, конфиден. И вот она вырывает тебе на колени обиженных изобретателей, истеричных правдолюбцев, потерпевших крушение интриганов, отыскавших тебя по мимолетному следу, оставленному в командировке — визитке, адресу, записанному в гостинице; и ты должен возиться с их головоломным безнадёжным делом.

— Откуда ходок-то?

— Говорит, из Арслана, от какого-то Чингиза. Самого Гассаном зовут.

Господи, да неужто же эта талышская диссида достает его здесь? Ведь ходил же он по возвращении из Азербайджана в ЦК, к Цесарскому, он свёл его с инструктором, ответственным за межнациональные отношения на Кавказе. И тот мордастый, хамоватый, сразу же перешедший на ты, втолковывал ему чиновничьей скороговоркой:

— Им автономию дай, это на три района... Лезгинам дай. А в Дагестане — три аула и уже свой язык, своя народность. Не напасёшься автономий. Ты хоть представляешь себе, какие это деньги — национальные школы, клубы, газеты, свой Верховный совет, разные там декады культуры? Да и потом, что нам на Алиева давить по пустякам? В Баку считают: нет такого народа. Нет так нет.

Инструктор помолчал раздражённо, поиграл желваками.

— Знаем мы про их иранские настроения. Шиниты сраные, фанатики, мать их... Сунниты — они помягче. А эти: имам сказал, значит, всё.

Выходило: с одной стороны — денег жалко, а с другой — у Баку имелась своя державная политика, свои права, на которые Москва посягать не хотела, отдавая Алиеву талышей на откуп. Но ведь не скажешь всё это тому же Чингизу, разговор цековский — доверительный. Зачем же ещё посланцы — думал Дания, сбегая по лестнице в вестибюль.

Однако с первых слов, выбарматываемых Гассаном ему на ухо, стало ясно, что тревога напрасна, здесь обыкновенная бытовуха. «Племянник. Ахмед. Хороший мальчик. Матрос. Драка. Его нарочно втянули. Ударил ножом. Так, пустяк. Тот человек претензий не имеет. А мальчику — суд, тюрьма. Направили в Москву на экспертизу, в институт Сербского. Три месяца ничего о нём не знаем. Чингиз-муаллим сказал: как приедешь, найди моего друга, устрой ему банкет...»

Притащил его в отдел. Усадил, выспросил имена и даты, в несколько звонков узнал и крупно выписал в блокнот телефоны, часы приёма и адрес Бутырской тюрьмы, где в ожидании психэкспертизы должен был находиться «хороший мальчик», всучил ему блокнотный листок, выпроводил смущённо благодарящего, бормочущего про банкет, про Чингиза-муаллима.

Всё! Сделано и забыто. Но на другой день вечером звонок домой. «Хорошего мальчика», оказывается, успели отправить в Баку.

— Значит, вы зря приехали?

— Почему зря. С вами вот познакомился.

Голос более спокойный, уверенный, похоже, что он оклемался за этот день в Москве, как-то устроился и достойно предлагает пойти посидеть в ресторане. Теперь, когда племянник отправлен из Москвы, это выглядело как нормальное проявление мужской дружбы.

Господи, как Дания ненавидел командировочные ресторанные застоля! Пережёвывание местных сплетен с многозначительными намеками на прикосновенность к заботам больших людей, велеречивые тосты. Чингиз обязательно вставал, вытягивал руку с бокалом и говорил: «Дорогой друг!» Он восклицал это с такой торжественной значительностью, что казалось — вслед за этим последует нечто высокое исповедальное. Но сказать было нечего. И возглашалось снова уже с пьяной настойчивостью: «Дорогой друг! Вы приехали к нам...» — и далее обыкновенная льстивая по-восточному цветистая чушь.

И вот уже здесь, в Москве — ресторан. Сослаться на занятость? Отказаться? Оборвать? Значит, продемонстрировать дистанцию между ним, Данией, принадлежащим к высшей власти, и этим мелким провинциальным чиновником. Согласиться? Значит выпотрошить его скорее всего совсем не толстый кошелёк, обрекая на показ традиционной кавказской широты.

— Приходите ко мне.

— Ой, правда? — с какой-то немужской экспансивностью воскликнул Гассан. — Когда?

— Да хоть сейчас.

И вот он стоит в передней со своим портфелищем, сияющий, смущённый. У Чингиза лицо сухое, твёрдое, хищное. У этого же расплывшееся, доброе и с каким-то ошалелым выражением. Приглаживает коричневые вихры. Костюм новый, «пасхальный», рубашка белая, галстук в павлиньих разводах. При параде. В Москву собрался. К большим людям.

Снял ботинки, в носках (Дания не успел дать тапочки) проволоч портфель в комнату. И на стол — бац — бутылку коньяка, армянского, три звезды. Этого, впрочем, следовало ожидать. Но портфель оставался открытым.

— Принесите, пожалуйста, что-нибудь большое.

— Что именно?

— Таз, кастрюлю.

Из распахнутых створок начали вываливаться пироги, пирожки, булки. Казалось, портфель тошнит этим жёлтым печёным тестом. В тазу образовалась гора — зыбкая, дышащая, отсвечивающая маслянистыми боками.

— Боже мой! Что это? — вскрикнула Зара.

Гость скромно потушился.

— Моя жена вам посылает.

И сделал широкий жест, как бы приглашая немедленно наброситься на эти пироги, давай, мол, ребята, гуляй по буфету.

— Но зачем же так много?

— Так надо.

За столом он неотрывно глядит на Даню влажными чёрными глазами и говорит без умолку — где учился, где работал, с кем знается, сыплет какими-то восточными именами, видимо, рассчитывая на ответную реакцию Дани: а-а, мол, да-да, знаю. Но Дания молчит, давая ему выговориться. Зато Зара перебивает изумлёнными вопросами. Зачем ему целых три диплома: двух техникумов и одной партшколы? Не глядя на неё, снисходя к бабьему неразумию, гость разъясняет: такая уж жизнь, всюду диплом нужен. Был замдиректора совхоза — сельхозтехникум кончил. Заочно, конечно. Был директором районного Дома культуры — техникум культпросветработы кончил, тоже заочно. Гассан перечисляет ещё несколько должностей районного калибра. Выходит, что дипломов у него даже маловато.

— А сейчас я председатель районного общества спасения на водах.

Зара, прижав пальцы ко рту, порывисто встаёт, уходит отсмеяться. Дания, однако, понимает, что гость на пересидке, выпал из команды, соскочил с круга, как электрон с орбиты.

— У вас сейчас пауза? — туманно спрашивает он. Но Гассан схватывает с полуслова.

— Эх, если бы вы знали, какие подлецы бывают!

Про подлецов ясно, эту тему лучше не затрагивать: взятку вымогали, а он, честняга эдакий, не дал. Или кто-то родича своего на его место устраивал. Конфликты на уровне родоплеменных отношений. Но гость о другом: не собирается ли Дания в их город, не сможет ли он в таком случае придти к нему в дом?

— Коли буду, так приду, — вяло обещает Дания.

— Если бы вы знали, что это для меня значит, — страстно шепчет Гассан. — Вы пришли бы ко мне в дом, сели за стол, все знали бы, что вы мой друг, мне бы могли дать какую-нибудь должность. Они позвали бы меня и сказали: «Гассан-муаллим, вы такой опытный человек...»

Что за бред, думал Дания. Неужели такая простота нравов?

— А у вас большой дом? — вернувшись, спрашивает Зара.

— Так себе. Четыре комнаты. Давно строил. Сад есть.

— А детей сколько?

— Семеро.

— Семеро? — переспрашивают Дания с Зарой в один голос.

— Семеро, — с улыбкой повторяет Гассан.

— Жена, конечно, не работает.

— Конечно. Шьёт немножко.

Не густо ему живётся, думает Дания. Всё-то кажется, что у них там на Кавказе денег куры не клюют.

Разговор, однако, начинает выдыхаться. Гость поглядывает на часы, прощается. Грустно и важно отклоняет предложение проводить — сам найдёт такси. Забирает опустевший портфель (к ручке привязан пластиковый пакет, в котором проглядывает бритвенный прибор и помазок) и исчезает.

Сидя за небраным столом в каком-то изнеможении, Дания увидел в глазах Зары слёзы.

— Ты что?

— Какая тоска. Я представила себе эту бедную, замученную детьми женщину. Как она пекла пироги, совала их в портфель. Как они всей семьёй обряжали его, собирали в дорогу. Он приехал завоёвывать Москву с портфелем пирогов, бедный кавказский Растиньяк. Мне жалко его. Он неудачник. Ему и здесь не повезло. Ты не тот человек, который ему нужен. Он слишком поздно это понял.

— Кто его знает, какой он был, когда преуспевал?

— Я этого не хочу знать. Я вижу, какой он сейчас — неумелый неудачник с семьёю детьми. Надо было хоть что-нибудь послать его жене. Но что? Кроме книг у нас ни черта не найдёшь.

— А вы пошлите ей Пастернака. То-то радости будет, — включился в разговор Сенька, входя в комнату с пирогом в руке.

— Молчи, — сказала, вытирая слёзы, Зара. — С чем пироги-то?

— С разным. С сыром каким-то. Есть с мёдом. Ещё с чем-то, не поймёшь.

— Куда нам столько? Придётся раздавать. Ты возьми к себе в институт.

Ушёл Гассан-муаллим, скрылась его широкая сутулая спина в сумерках слабо освещённого подъезда, хлопнула дверь вниз и поглотила его московская ночь.

Остаться бы ему в том времени навсегда, занавешенному створками даниной памяти, в образе простодушного Растиньяка, неудачливого искателя столич-

ных покровителей. Но вот высвечивается его образ годы спустя чудесной силой совпадений, прихотью Великого Ткача, что творит паутину судеб, встреч, событий.

Рассаживались по принципу «своя своих познаша». Левый ряд заняли русские немцы. Правый — русские евреи. На «камчатке» — турки, курды, азербайджанцы.

Германия, жесткая ксенофобская Германия, растянув на послевоенные полвека свои извинения перед миром, открывала дверь беглым и гонимым. Напишем на нашем знамени слово «сострадание»!

В одном классе языковых курсов арбайтсамта оказывалась коренастая свинарка из Казахстана, неподвижно сидевшая, сложив на столе тяжёлые руки, и московский инженер с мефистофильским профилем, истерзанный графоманскими страстями («Я приехал сюда писать прозу»), юный пастух из сибирского села и почтенная ученая дама из Петербурга.

Всё вместе это зевало, кряхтело, засыпало, хохотало, взвизгивало. Менялись громкоголосые фрау, преподававшие языковую премудрость. Взвизгивала на вертикальных рельсах исписанная мелом доска. Класс погружался то в историю герра Флика, который застаёт жену целующейся с его деловым партнером, то герра Беккера, который торгует обувью, в полдень обедает, а вечером добродетельно сидит у телевизора. Класс зубрил немецкие глаголы, болтал на причудливой языковой смеси, пил вино на совместных застольях во время дней рождений, отмечаемых в той же классной комнате за сдвинутыми столами, бродил по аллеям соседнего парка, жевал, острил и грустил на его скамейках.

Даню занимал молодой перс, единственный перс в классе. По-немецки он говорил довольно сносно, так что, пожалуй, ему было и не место среди начинающих. Но знание своё не демонстрировал, да и вообще держался в тени, помалкивал, впрочем, молчание это казалось презрительно агрессивным.

Склонный к наблюдениям и размышлениям над обликом незнакомых людей, Даня усматривал в нём какую-то странную смесь разных культурных слоев. Вот он взгромоздился на стол на перемене, сидит, поджав ноги, прикрыв глаза, перебирает четки. Эдакий «турок на молитве» из фольклора полуденной жаркой Азии. Но в вороте рубашки — краешек тельника, в движениях мягкость, не восточно-гаремная, а скорее кошачье-блатная, и взгляд пронзительный исподлобья.

Что-то неизъяснимо знакомое чудилось Дане в этой повадке. Он наблюдал за ним, пытаясь слепить из реакций, манеры поведения, отдельных реплик образ этого человека.

Обучение в классе велось с помощью разнообразных игр. Разыгрывалась сцена в ресторане: ты — официант, я — клиент. Или раздавались картинки, связанные обрывающимся сюжетом, конец его полагалось придумать самому. Затевались дискуссии на темы, которые преподавательнице представлялись интересными для аудитории, скажем, выносить или не выносить тело Ленина из мавзолея, и когда молодой турок спрашивал, кто, собственно говоря, такой этот Ленин, класс взрывался хохотом. Но перс-то знал, кто такой Ленин. Дана видел, как в ниточку сжимались его губы, каким жёстким при упоминании этого имени становился взгляд.

В игре же с картинками его неодобрение вызывала придуманная кем-то сцена: собака сидит в кресле и читает газету. «Человек есть человек, а животное есть животное, — пробормотал он по-немецки. — Нельзя так фантазировать». Похоже, что он был человек строгих правил, чётких представлений о жизни, где каждый знает своё место. То же проявлялось у него в разговоре об эмансипации женщин. «Не понимаю, как это женщина не хочет готовить. Это её, а не мужское дело».

А с какой иронией следил он за взрывом гастрономических эмоций, последовавших за предложением преподавательницы составить сообща рецепт украинского борща. Русскоязычная часть класса просто изнемогала от переполнявших её вкусовых ощущений. «Говядина должна быть обязательно с косточкой». — «Про чесночок не забудьте. Про чесночок...» — «А паприка?» — «Сметана-то, шманд?».

Преподавательница, холёная молодая немка с аристократическим *фон* в фамилии, писавшая всё это на доске, даже сладострастно зажмурилась при последнем выкрике: «Йа-а, шманд!»

Восточная часть аудитории посматривала на этот ностальгический пир с вежливой улыбкой. Но в иронии перса была некая брезгливость, какая может быть у человека высоких помыслов при виде низменных плотских страстей. В какой-то момент Дана показалось, что он понимает по-русски и даже чувствует оттенки языка. Перегнувшись к нему за спиной разделявшего их соседа-турка, он внятно и медленно сказал:

— Ты ж по-русски понимаешь?

Перс выдержал паузу и ответил без малейшего акцента:

— Ну и что?

— Откуда?

— Жил.

— В России?

— В Азербайджане.

— В Баку?

— Почему в Баку? В Арслане.

Всё стало на своё место, как в детской мозаике, что складывается из отдельных фрагментов. Красшек тельняшки, едва уловимая приבלатнённость в повадке... Всё сложилось во внезапном озарении.

— Ты Ахмед, матрос, племянник Гассана-муаллима?

Он окаменел. Несколько секунд сидел, прикрыв глаза, ничем не выдавая изумления, видно, что-то сопоставляя, припоминая. Потом, справившись с собой, спокойно сказал, пожалуй, даже утвердительно, а не вопрошающе.

— Ты тот человек, к которому он ездил в Москву? Зря. Меня отправили в Баку, а там выкупили.

— Я знаю.

На том разговор закончился. И больше они ни разу ни о чём не говорили, как бы не замечая друг друга. А вскоре Ахмед исчез, не доучившись до конца. Считалось, что он нашёл работу и курсы ему теперь ни к чему. Точно так же несколько раньше исчезли два иракских курда — добродушный крестьянин из Сулеймании и мрачноватый официант из Киркука.

Всё это напоминало об одном из ликов Берлина — пересыльного пункта и европейского резервуара всяких национальных движений Востока и Балкан. Этот мир выходил порой из-под пёстрой и гладкой поверхности германской жизни в виде толп курдов или сербов, скандирующих лозунги и размахивающих полотнищами с надписями, или штурмовых набегов палестинцев на посольства государств, представлявших им враждебными. Возможно, что и Ахмед был оттуда же. Сонный талышский Арслан с красными пятнами гранатов в пыльной зелени садов, с джигитами в кепках-аэродромах, став частью исламского Востока вытолкнул его в фундаменталистские страсти, в шиитский мир, о котором некогда хрипло шептал Дане на ухо Чингиз.

Вторая встреча с Иоганном Шубертом, как и первая, была случайной. Вообще-то Дания позвонил переводчику вскоре после кинопросмотра «Триумфа воли». «О-о, как я рад, — услышалось в телефонной трубке. — Но извините меня Бога ради, я варю свой пудинг, он может подгореть. Вы дома?» Перезвонил через несколько минут. Повидаться же вскоре не получалось, да так и заигралось... Осталось воспоминание о подгорающем пудинге, как он там, верно, стоит у плиты, обвязав живот полотенцем, болтает ложкой в кастрюле. Чистенький старый холостяк, всё сам себе делает. Одинокий старик. Впрочем, как и Дания. Два одиноких старика. И вот они встретились в самом, казалось бы, неподходящем месте — на балу любви.

Каждый год язычески беснующаяся толпа молодёжи в летнюю жару изливается в Берлин, заполняя улицы центра города оглушительной музыкой, криками, экзотическими плясками. Не было ничего более далёкого от тогдашнего состояния Дани, чем эта вакханалия, и тем не менее он каждый год с угрюмой миной ввинчивался в толпу и шёл квартал за кварталом в грохоте рока, в дуденье и визге, в плотной массе потных полуобнажённых молодых тел, едва прикрытых пёстрым тряпьем.

В изнеможении вырвавшись из этого клубка запахов и ритмов, он стоял, прислонившись к тёплой стене дома. И вдруг увидел Шуберта. Он шёл, держа на плечах девочку в одних шортиках даже без лифчика, так что молодые аккуратные груди тряслись в такт движению. Она размахивала воздушным паром и что-то кричала, а он с побледневшим от жары и усталости потным, но счастливым лицом, нёс её, поглаживая крупными старческими ладонями ляжки, плотно охватившие его шею. Что она кричала? Какое-то одно слово. Какое? Дания вслушался, пытаясь вырвать её голос из общего шума и, кажется, разобрал: «Фатти, фатти!» — папочка.

Увидев Данию, Шуберт помахал рукой и похлопал свою всадницу по попке, давая знать, что пора слезать. Та мгновенно, опершись о его голову руками, ловким гимнастическим движением спрыгнула на землю и пошла, не оглядываясь.

— Тяжело? — спросил Дания.

— Но приятно, — в такт ответил Шуберт.

На боковой пустынной улочке, куда гул бала любви доносился лишь отдалённо, нашли прохладную пивную, устроились на воздухе за столиком в зыбкой тени тента. Посасывая пиво, вглядывались друг в друга, улыбаясь, как бы разминая начало разговора.

— Она вас называла — папочка?

— Наш Гёте сказал: «Мой друг, теория суха, а древо жизни вечно зеленеет».

«Наш Гёте» — как это по-немецки, подумал Дания. Но похоже, что цветение древа жизни для него реализуется лишь в определённых формах. Ничуть не понижая голоса, чего, казалось бы, требовала интимность сообщаемых в дальнейшем фактов, Иоганн рассказал, что время от времени он посещает публичный дом. Один и тот же, очень хороший, с чистыми, воспитанными девушками. О, нет, это, конечно, не роскошное заведение с сауной и кружевным постельным бельём, где с вас сдерут пятьсот марок за час, а вполне пристойное опрятное учреждение среднего класса, где час любви вам обойдётся в сто пятьдесят марок. «Заразиться? Что вы, Даниил, что вы... Ведь это же профессионалки. Мы можем пойти вместе. Нет-нет, я не настаиваю, спутник

для этого дела мне не нужен, я просто хотел оказать вам услугу, ведь вы в чужой стране и к тому же одиноки. Как хотите, разумеется, как хотите».

Он говорил об этом деловито и просто, расхваливая своё публичное заведение, как одна хозяйка посвящает другую в закупки продуктов: «Тут недалеко есть отличный магазин, где вырезку можно купить по пятнадцать марок. И, знаете, отличное мясо».

Даня спросил, как часто он ходит в публичный дом. Оказалось, что раз в месяц, но если много переводов, то два раза в месяц.

— Значит, периодичность ваших посещений зависит не от потребности, а от заработка?

— В какой-то мере.

— А как сейчас с работой?

— Не лучшим образом. Но мне обещали заказ на перевод «Сатанинских стихов» Салмана Рушди. Это и выгодно, и интересно.

— А вы не боитесь?

— Вы имеете в виду фетву Хомейни?

— Да, тем более, что итальянский и японский переводчики, насколько я знаю, убиты. Как, впрочем, и брюссельский муфтий, издавший контрфетву.

— Знаете, я фаталист.

Разговор перескакивал от темы к теме, меняя русло, цепляясь за ассоциации, прорываясь сквозь кору отчуждения к близости мироощущения, так что Даня, пугаясь чего-то, отходил от этой черты, используя привычное оружие иронии.

— Иоганн, вы принадлежите к какой-нибудь конфессии? Католической, лютеранской?

— Да нет, я скорее эзотерик, гностик.

— Какое гностическое учение вы исповедуете? Манихейство, неоплатонизм?

— О-о, да вам не чужды занятия философией. Ничего-то я не исповедую. Так, читаю, думаю.

— Всё равно уйдём ин дрерт? Знаете, есть такое идишистское выражение — ин дрерт — в землю, в прах.

И в ответ Даня услышал, холодея, не веря собственным ушам, то, что читал, над чем думал буквально вчера.

— Прах, прах! Как ты упрям, как нагл! Ведь всё желанное очам смешивается с тобой.

— Господи, Боже мой, Иоганн, вы изучали каббалу, читали «Зогар»?

— Почему бы и нет?

Среди книг и философских заметок, оставшихся от Зары, были и черновики к так и ненаписанному повествованию о Моше де Леоне. Она пыталась увидеть его в реалиях тринадцатого века. Его длинный кафтан с широкими рукавами, под которым носили талес, надетый на перепоясанную широким ремнем тунику.

Туника — это то же, что хитон, и созвучие здесь несомненно, нечто вроде длинной рубашки, а у Томаса Манна Иосиф носит, подаренный ему Иаковом кетонет (тоже созвучие) Рахили, вызвавший столь жгучую зависть братьев, что, в конце концов, весь сыр-бор и разгорелся.

Моше писал свою Книгу на веленовом пергаменте гусиным пером, чернилами, приготовленными по специальному, предусмотренному в Талмуде рецепту. Всё это Зара вычитывала в брокгаузовской Еврейской энциклопедии. Только вот портрета её героя там не было. Облик его не сохранился. И Даня помнил, как она обсуждала с ним, как мог выглядеть Моше. Худое, узкое, чернобородое лицо, истерзанное страстями? Ну почему же худое, да ещё истерзанное страстями, отвечал Даня. А может, он был вялый, толстолицый, со скучным, ничего не выражающим взглядом? И огонь, который горел в нём и излился на страницы «Зогара», так что столетия спустя хасидский цадик благодарил Бога, за то, что он создал его после сотворения Книги, дав ему счастье читать её, никак не выражался в его облике.

«Хасиды называли Бога «Татеню» — папочка, — писала Зара. — Нет ничего более далекого от живого патриархального Бога Библии, которого можно назвать Татеню, чем каббалистическое обозначение чистой Божественной сущности — Эйн-Соф — Бесконечное. Мир возникает как кризис в Эйн-Соф, переходящем от покоя к творению. Десять сфирот — это десять метафорических имён Бога — Венец, Мудрость, Разум, Любовь... — десять стадий его сущности, проявлений его сокрытой жизни, десять стадий Божественного саморазвёртывания. Им предшествует появление предвечной точки — мистического центра, вокруг которого кристаллизуется теогонический процесс.

Вчера мне приснился ребёнок. Крохотный, полуголый, в широких штанишках на лямках. Он приплясывал в кругу каких-то людей и веселился. Это и была предвечная точка. Сегодня я вспомнила, откуда этот ребёнок. Он был в кадрах гетто, на привезённых из Варшавы снимках. Малыш в скособоченной, прикрывающей один глаз шапке топчется, пляшет на мостовой, смеётся.

В истории обнаружения «Зогара» — мистика бродячих сюжетов. В наше время этот сюжет, который можно обозначить как «жемчужина на мусорной свалке», повторился в отыскании кумранских рукописей: Палестина, пещера, случайно забредший туда араб-пастух, торговцы, заворачивающие снедь в священные тексты.

Тот же случай «жемчужины на мусорной свалке» и с «Зогаром». По преданию несколько листов рукописи попадают в Палестине в руки некоего мудреца, пришедшего с Запада. Мне довольно легко удалось установить, кто имелся в виду. Это совершенно конкретное лицо — знаменитый испанский раввин Нахманид, которого спровоцировали на диспут по поводу того, является ли Христос Мессией, а потом по требованию Папы выслали в Палестину.

Ну, а Моше де Леон в предании фигурирует как переписчик Книги. Потом в Испанию приехал из Палестины ученик Нахманида Ицхак из Акко и удивился тому, что ни слова не слышал о такой замечательной книге от своего учителя. Ведь любой образованный еврей в те времена понимал, что перед ним настоящая энциклопедия каббалы. Но в средние века такое случалось: рукопись сознательно приписывалась автором какому-либо авторитету древности, как бы припудривалась пылью веков. Здесь расчёт на читательский консерватизм, на преклонение перед традицией. Иначе не прочтут.

Моше де Леон объяснял жене это так: если люди узнают, что я автор, они не истратят на книгу ни гроша. Но услышав, что я снимаю копии с рукописи, написанной Шимоном бар Йохамом по наитию святого духа, они хорошо платят за неё.

Когда Ицхак из Акко пришел к Моше де Леону в Авилу, где тот жил, он уже умер. И Ицхак записал в своём дневнике, дошедшем до нас, слова вдовы. Впрочем, Шодем, проанализировав и другие книги Моше, довольно убедительно доказал, что авторство «Зогара» принадлежит именно ему.

Всё-таки это поразительно, как каббалист средней руки да и к тому же одержимый прагматической целью, смог создать такую книгу. По влиянию на умы еврейства «Зогар» сравнивают с Библией и Талмудом. Впрочем, Талмуд апеллирует к рассудку: «Приди, послушай», а «Зогар» — к духовной интуиции: «Приди, взгляни». Здесь непосредственное общение с Богом, мгновенное преодоление пропасти, отделяющей его от человека.

Сколько иронии, язвительности, недоброжелательства вызывал Моше де Леон у еврейских историков. «Как наш бессовестный изготовитель книг любит морализовать», — пишет Штейншнейдер. Грец называл его ленивым

и нищим шарлатаном, открывшим для себя неиссякаемый источник дохода за счёт входившей в моду каббалы. Это терминология газетного фельетона девятнадцатого века.

Как они не ощущали пленительную поэзию «Зогара», возвышенный строй души его автора? При их-то знании иврита и арамейского, при глубокой еврейской образованности и впитанном с детства духе иудаизма? Все ведь вышли из патриархальных семей, провели юность за Талмудом, это уж потом стали профессорами в немецких университетах. Впрочем, Грец вообще к каббале и к хасидизму относился отрицательно, полагая, что они дурно влияют на народ. Словно пастырь, школьный учитель, знающий, что хорошо и что плохо для его учеников и оберегающий от развращающего влияния их неокрепшие души, он отрицал мистицизм. Гегельянцы и неофиты европеизма, просветители и рационалисты, они стояли на страже религиозного Закона своих предков в его классическом понимании. И за этим противостоянием угадывался извечный, протянувшийся на тысячелетия конфликт между верой и философией, Платоном и Аристотелем, Кьеркегором и Гегелем...»

В ту вторую их встречу с Иоганном они долго ещё сидели в тихой пивной, отдаваясь сумбурному и вместе с тем в чём-то очень важному для обоих разговору.

— Никогда не мог понять атеистов, — говорил Шуберт. — Мне всегда казалось, что в мире присутствует некая тайна. Соприкосновение с ней это и есть счастье. Да ведь и в вас, как мне кажется, живет тоска по трансцендентальному, по высшим формам бытия — Единому, Благому.

— Это вы о вере? Да ведь я не платоник.

— А это свойственно не только платоникам. Собственно, тоска по метафизическому познанию и родила монотеизм, так что первыми её ощутили ваши далекие предки.

— А как это уживается с плотским — проститутки, парад любви?

— Вы, кажется, хотите меня подразнить? Плотское прекрасно. И парад любви прекрасен, как древняя восточная мистерия.

— Язычество, мифология?

— А что такое каббала, о которой мы толкуем, как не возврат от строгого монотеизма к первооснове бытия, к мифу и одновременно к тёплой плотской патриархальной вере, как у хасидов, так много взявших у каббалы. Кажется, ваш Розанов сказал: «Мне свечечка дороже, чем Господь Бог. Свечечка она теплая...» Да и в «Зогаре» Божий человек Моисей состоял в мистическом, правда, браке с Шхиной — Божественным присутствием в мире. И сама Шхина описывается как дочь, княгиня, женский принцип в мире сфирот. Мне отвратителен

августиновский аскетизм, его презрение к телесному. Уж иудаизму он совсем не свойственен. А Моше де Леон? Вот уж в ком возвышенное и земное уживалось... Разве не стремление заработать заставляло его выдавать написанный им «Зогар» за творение Шимона бар Йохая?

Разговор принимал вид традиционного сюжета с двойником-дьяволом. Он всё читал и всё знал, о чём думал Дания, схватывая на лету каждую его реплику, не обижаясь на подкалывания, понимая мысль до донышка, развивал её, парировал, гнул своё, так что и противопоставить ему было нечего.

Теперь они часто встречались, часами гуляли по городу, философствовали, спорили, подчас иронизируя над собственным многоумием.

Во время одной из таких прогулок Дание показалось, что они встретили Ахмеда, быстро проскользнувшего мимо и не ответившего на приветствие Дани.

— Кто это? — спросил Иоганн. — Вы знаете этого человека?

— Похоже, что это мой бывший соученик по языковым курсам.

— Странно, — задумчиво сказал Шуберт. — В последнее время он несколько раз попадался мне на улице.

Больше на эту тему они не говорили, но что-то засело в Дание, каким-то смутным подозрением, неясной тревогой...

В последнюю встречу с Шубертом они почти всю тёплую летнюю ночь просидели в уличном кафе среди бомжей и всяких восточных людей — арабов, турок, негров, среди медленно прохаживающихся между столиков проституток.

Иоганн рассказывал о работе над переводом «Сатанинских стихов». Собственно, кощунственной можно было бы считать лишь одну главу, действующим лицом которой был Махунд из Джильи. За этими именами угадывались Магомет и Мекка. В сложном, не совсем понятном для немусульманина сюжете этой главы пророк пишет подсказанные ему шайтаном стихи. Весь остальной роман не нёс в себе ничего оскорбительного для правоверных и был, как считал Иоганн, посвящён психологии эмигрантов. Впрочем, имелась ещё одна главка, где Хомейни мог найти свой портрет и это, наверное, и привело его в ярость.

Текст фетвы гласил: «Я хочу сообщить неустрашимым мусульманам, что автор книги, называемой «Сатанинские стихи», написанной, отпечатанной и выпущенной в свет в качестве вызова исламу, пророку и Корану, равно как и те издатели, которые были осведомлены о её содержании, приговорены к смерти. Я призываю всех ревностных мусульман казнить их быстро, где бы они их ни обнаружили...»

Иоганн читал этот текст, улыбаясь, отмечая интонацией особенности стиля, его выпретенность и энергично. Но Дана было не смешно. Они расстались под утро.

Шуберт исчез, не звонил и не отвечал на призывы Дани откликнуться, передаваемые на автоответчик. Пришлось отправиться к нему домой. На двери в подъезд, на доске звонков его фамилии почему-то не оказалось, а ведь она была здесь, вторая слева. Дана хорошо помнил. Теперь табличная рамка зияла пустотой. Томимый тревогой он нажал на соседний звонок. В ответ на женский голос, раздавшийся из домофона, объяснил, что он друг Иоганна Шуберта и хотел бы узнать что-нибудь о нём.

«Коммен зи херайн» — «Войдите», — прозвучало в ответ. На втором этаже у открытой двери стояла молодая женщина.

«Эр ист гешторбен» — «Он умер», — сказала она.

— Отчего?

— Пойдёмте.

Они вышли в парк, прошли по аллее к детской площадке, ограждённой невысоким забором.

— Вот здесь его нашли утром. Он любил гулять ранними утрами. Он лежал на песке, лицом вниз. Его ударили ножом в спину. Насколько я знаю, убийцу не нашли.

Она прощально кивнула и пошла обратно. А Дана поплёлся в ближайшую пивную, где они сживали с Иоганном. Как-то в свой день рождения Дана заказал шампанское. Потягивая холодное вино, Иоганн вспомнил вычитанное в каких-то русских мемуарах: последним желанием Чехова, умиравшего в Баденвейлере, было выпить шампанского, пригубив бокал. Он сказал свои последние слова по-немецки: «Их штербе» — «Я умираю». Дана в ответ поведал, что эту историю обыгрывали молодые русские писатели в двадцатые годы. Он тоже вычитал в каких-то мемуарах, как Катаев или Маяковский заказывали шампанское марки «Их штербе».

Теперь Дана сидел и пил шампанское марки «Их штербе» за упокой души Иоганна Шуберта.

Ночью ему приснилось: Шуберт пришел к нему из Единого, скинул девку с плеч, и они долго сидели втроем и пили шампанское. Девка обращалась к Иоганну «Фатти», а он к Богу — «Татеню».

Дмитрий ГРИЦКИЙ

приехать туристом в маленький городок
где тебя не знает никто кроме замглавреда
чего только не читавшего у тебя меж строк
30 минут провести выслушивая соседа

полдня шататься по набережной. некролог
на столбе интересней чем их газета
полдня купаться на пляже разрыть песок
но не найти ничьего секрета

послушать на площади местный инди-рок
от нечего делать задумать большой роман
пальцами выжать лимон в запотевший стакан
с минералкой, получая к копченому сыру сок

в добавку цедить разговор по буквам крутить барабан
произвести фурор среди дам словом анжамбеман
которое раньше употреблял здесь один комсорг
лениво смотреть, как синее небо смежит туман
ровняя столбы с кипарисами испытать восторг

вечером сесть на обратную электричку
по пути нарвать рассовав по карманам дичку
на заборе отметить: пока третий рим зажимает крым
супа не брать, довольствоваться вторым.

заполняя словами пустую рамку
заплетется язык попадая в ранку
на десне. этот текст предсказуем сух.
по весне вымирают одно из двух

не аршином а саженью по плечам
этих букв хватит на главпочтамт
эти саженцы вызреют у ручья
отвлекаться стоит по мелочам

подзаборный лопух или резеда
/лишены возможности опоздать
ломтик лимона по кромке льда/
все годится на корм или для гнезда
/иксбану заварку и эрудит
там где умное слово не повредит/
виноград и хмель перевили сетку
где косая калитка прикрыта редко

на ничьей земле прорасти не труд
прут воткнешь и плоды кляют
ослабив связки кончена песня
язык скользит не находит места

* * *

мы сидели мы внимали
колебанья гул земли
звуки тело поднимали
и до неба донесли
если кто-то прочитает
жизнь задом наперёд
то немедленно узнает
кто сегодня в нём живёт
колокольчик поднебесья
звóнок честен незлобив
оттого-то кто-то весел
зверя Индрека словив
а он бивнями своими
да дома за облака
а вернутся все другими
да и не наверняка

Ольга ШТЫРКИНА

В полёте

Темно. И на стекле — снежинки.
До неба нужно долететь.
Рассвет — расплавленная медь.
От горизонта — половинка.
Внизу остались километры.
Мир состоит из пустоты.
Туманный свет совсем остыл
В холодных поцелуях ветра.
Мы — в животе железной птицы.
Мы — притворились, что летим.
В плену диспетчерской сети
Мы даже сможем приземлиться.

Больные звёзды падают с небес,
Как дар непризнанного Бога.
И месяц, будто личный бес,
Нам ухмыляется двурого.
От богохульства — до креста.
От многожёнца — до монаха.
Дано ли жизнь переверстать
И уцелеть, взойдя на плаху?
В сырую пропасть сентября —
Как в тяжкий сон перед рассветом...
И наши ль души закалять
Горнилом Нового Завета?
На полустёртых образах —
Потёки мира... или воска.
И подсыхают, как слеза,
Следы Христа на перекрёстке.

Начало

Юность — предгрозовая.
Письма. Дороги. Песни.
Рукописи сгорали,
Чтобы к утру воскреснуть.
 Время пустою чашей
 Перевернулось в полдень.
 Ты становился старше
 В полночь и на восходе.

И выходили годы
На незнакомый берег.
Ангелы с небосвода
Часто роняли перья.
 Осень тебя ласкала,
 Дерзкая, как Лолита.
 Ждали седые скалы,
 Пенной волной разбиты.
Белые крики чаек
Над синевой бездонной.
Ты ли — моё начало,
Будто звезда в ладони?

Твой шёпот разрывает время —
Как лист бумаги, вдоль и поперёк.
Я, воин, падаю из стремени:
Стрелой — в стриженный висок...
Цепляюсь за ковыль сухими пальцами,
А на губах — солёный вкус побед.
И солнце бьёт в лицо, как палицей;
В зените замирает, ослабев.
Вот drobный стук копыт — почти мурашками
По закольчуженной спине.
Мы в детстве звали клевер кашкою
И капляли на пару по весне.
В застывших облаках сверкают молнии.
Костями врастаю в жёсткую траву.
О нас ещё недавно — помнили
И имена давали — наяву.

Georg Trakl / Георг Траклъ

Перевод: Александр Лакманн

Die Sonne / Солнце

Täglich kommt die gelbe Sonne über den Hügel.	Солнце восходит, желтея, над холмом.
Schön ist der Wald, das dunkle Tier,	Прекрасен лес, зверь дикий,
Der Mensch; Jäger oder Hirt.	Человек; охотник, пастух.
Rötlich steigt im grünen Weiher der Fisch.	Красный карп в зелёных водах пруда.
Unter dem runden Himmel	Под аркой небесной
Fährt der Fischer leise im blauen Kahn.	Голубое лодки пятно, рыбак.
Langsam reift die Traube, das Korn.	Неспешно виноград зреет, пшеница.
Wenn sich stille der Tag neigt,	К часу заката
Ist ein Gutes und Böses bereitet.	Готовы уже плоды зла и добра.
Wenn es Nacht wird,	Ночью же
Hebt der Wanderer leise die schweren Lider;	Путник с трудом размыкает ресницы;
Sonne aus finsterer Schlucht bricht.	Из мрачной лощины лучи пробиваются.

Hugo von Hofmannsthal / Гуго фон Гофмансталь

*Перевод: Анатолий Замиховский***Was ist die Welt? / Что этот мир?**

Was ist die Welt? Ein ewiges Gedicht,
Daraus der Geist der Gottheit strahlt und glüht,
Daraus der Wein der Weisheit schäumt und sprüht,
Daraus der Laut der Liebe zu uns spricht

Und jedes Menschen wechselndes Gemüt,
Ein Strahl ists, der aus dieser Sonne bricht,
Ein Vers, der sich an tausend andre flicht,
Der unbemerkt verhallt, verlischt, verblüht.

Und doch auch eine Welt für sich allein,
Voll süß-geheimer, nievernommner Töne,
Begabt mit eigner, unentweihter Schöne,

Und keines Andern Nachhall, Widerschein.
Und wenn du gar zu lesen drin verstündest,
Ein Buch, das du im Leben nicht ergründest.

Что этот мир? Суть — бесконечный стих,
В котором Божий промысел таится,
В котором мудрости вино искрится,
В котором глас любви ещё не стих.

И всякий переменчивый зигзаг
Страстей — суть луч из этого светила,
Строфа, что тысячи других обвила,
И вместе с ними канула во мрак.

Но, прежде, целый мир в себя вместить,
Всю боль его, всю красоту, всю сладость
Сумела, обращая слёзы в радость,

И самоё себя до дна испить.
Ах, если б мог читать ты эту вязь,
Тебе бы тайн земных открылась связь.

Динара РАСУЛЕВА

Две ложки Бугульмы

Рассказ

Tinder — приложение для знакомств. Главное свойство Tinder — ты не можешь связаться с человеком не из своего города.

1.

Я всадил ещё один кубик. Время очень быстро выходило и уже почти вышло. Любой другой справился бы куда шустрее, но время толще любого из нас. Жирнее любого куриного бульона и тянучее, когда не просили — вот такое оно это время. Поэтому вышло-то оно почти, но ещё не полностью.

И вот тут настает пора Шрёдингера. Кот, твой выход! Тут получается, что время почти вышло на каждом моменте, когда мы можем об этом подумать. А когда оно выйдет совсем, подумать мы уже не сможем. Вот такое оно шаловливое, и видно в лучшем случае его хвостик, а в худшем вообще ничего не видно, якобы нет ему конца.

А как же нет конца, если сегодня в офисе всем разослали сообщения с заголовком *Very sad news*. Открываешь крышечку, а оттуда на тебя репост из внутреннего фейсбука о том, что в офисе случился инцидент, один погиб, все остальные в трауре. Расследование ведёт полиция. *POLICE INVESTIGATES*. [*Roxanne you don't have to put on the red light, Roxanne you don't have to wear that dress tonight.*] А внизу, под репостом, приписка — мол, если не видели, то вот вам ссылка на пост, мои соболезнования, и если хотите пережить, то можете завтра на работу не приходите. И я, конечно, не приду. Хочу пережить, а как иначе.

Что-то вздрогнуло. Сообщение в тиндере — *wanna go for a drink?*

Передо мной испарипанный пропахший дошираком стол, поперёк него скатерть — на целый стол её не хватает, но хотя бы прикрывает позорное пятно от вейперского прошлого, сама вся в жёлтых пятнах — это к местному дошираку полагается всегда карри соус, не отстирывающийся в местных машинках, на скатерти шестнадцать пустых бутылок, стопка флаеров — их каждый день раздают у выхода из метро по вечерам, а я беру. Ещё лужа воска от икеевских свечек, оказалось, их из нефти делают, той самой. Ты как узнала, так выкинула всё, а воск натёк и остался. НАВЕКИ. И этот запах ещё лезет в меня настойчиво — в биомусоре что-то разложилось, или сосед умер (такое уже бывало в 2015-м).

Я открыл форточку, флаеры сразу унесло в спальню, я остался на кухне один. Запах не уносило. Я нашёл на столе старую шариковую ручку с тощим огрызком кончика и решил незамедлительно сделать себе татуировку. Игла, чернила, всё как полагается, я попереворачивал бутылки в поисках остатков спирта, безуспешно. Ничего, обходились и без него (на второй день, разумеется). Вдруг в бутылке с колоритной татарской надписью «Бугульма» (кажется, чей-то родной город) нашлось две столовые ложки зелёного травяного спирта, я так обрадовался, что тут же полез выбирать дизайн в стикеры с тюремными наколками, но как-то было всё слишком сложно, сейчас так не модно, говорят.

— *Hey, want to go for a drink?*

Да погоди ты. Две столовые ложки Бугульмы, а куда их, втирать или в себя принять, как обезболивающее? А остался ещё тот газ, что дантисты пациентам давали поржать вместо анестезии, кажется, среди белья они лежали, баллончики эти, нет, всё повдыхал, сука. Ладно. Бугульму в себя, а дальше как, иголку в ручку или её разобрать сначала? Как в таком тоненьком стержне помещается маленькая повесть? Или не помещается? В школе одной ручкой мог месяц писать, а Бёрджесс своего Апельсина за три недели накатал, пока думал, что от опухоли в мозгу умирает (а я не умираю?). Значит, как минимум заводной апельсин в стержне, да тут всё равно уже не полный. Но мне хватит. Хватит на слово, а даже скорее всего и на четыре.

— *you there?*

Вырубаю тиндер, слишком ответственный момент. Слишком ответственная жизнь, человек вот умер, *very sad news*. Так, ладно. Пусть запомнится этот момент — человек умер, а я жив. Прямо тут на обороте ладони, как у правильных ребят, чтобы на поручне автобуса выгодно выделялось — *VERY SAD NEWS* колю. Очень больно, ребзя. Бугульма, похоже, не туда ушла. Пора окно закрывать. *Very* — между мизинцем и средним, *sad* — между средним и большевистским, *news* — прямо на пальце (я правша). Чернила красными оказались, с кровью слилось и не разобрать ничего. Так вот откуда ручка, ты тетради проверяла. Это ещё до бутылок было и до доширака. Но после свечек, между свечками и бутылками примерно. Одно радостно: успел тебя нефтью икеевской потравить. Ну и от того, что это ты кончик отпрызла, сразу как-то приятно стало, спокойно — всё на своих местах, в городе Алзамай за тридцать лет не изменилась численность населения (шаманят), а у нас ручки всё так же обгрызены.

— *how will I find you?*

Ну, тут всё просто.

Выпал из доширакового мира своего в чужой, влажный, свежий, и тут же уши заложило тишиной. На минуточку, а потом разложило, и вложило в них

всё лучшее, что в нём было — как будто я самый ценный дорогой клиент — шум трамвая и трассы, и лай, и плач, и шелест в кронах деревьев, листья мокрые и липнут к подошве, дорога светится зелёным от светофора и красным от машин [*Roxanne, put on the red light*], я сворачиваю, и ещё, и ещё. А вообще я всё правильно сделал, бар можно найти только если в тебе две ложки Бугульмы, столовые, разумеется. А она, интересно, знает? Надеюсь, не училка, хватит с меня.

2.

Дома вдруг стало очень тепло. Я пошла и отключила батареи. Заодно сдёрнула гирлянды и 3D-звёзды — надоели. Завтра в школу не пойду, много задали, да ну нафиг. Ещё и кашель не прошёл, а сиропчика уже выпито на целую вечеринку.

Совпал чувак в тиндере и не отвечает. Иностранец какой-то, прикольно. Шесть чашек чая выпила, и стало скучно. Шоколадки из подарка закончились, растолстела на стописят кэгэ. Как жить, что делать? Целый день дома, в полпервого всех отпустили, девочка какая-то из третьего класса прямо на уроке с парты упала и до больницы не дожила. Мы на английском были, англичанка так и сказала — *very sad news*. И лицо такое сделала старательно: *sad*. Сказали, потому что всю зиму в одних колготках проходила, никто не следил, и даже юбки у неё как будто не было. Но в третьем классе кому какое дело, можно и без юбки. Родители там будто бы пили и не покупали ей одежду. Но колготки почему-то купили. И, наверное, тетради, она же писала в чём-то? И ручки. А ручек надо много, на неделю ручки три уходит, плюс цветные и золотая. Ну, золотой, наверное, у неё не было. Зачем мне шестнадцать разных ручек? Каждый день идёшь в школу, и надеешься, что она сгорела, и всех отпустят. А теперь ещё и начнут надеяться, что кто-то умрёт, идиоты. А это не смешно. Прошлым летом стояли вокруг скамейки напротив пятого, пришла Роза Анваровна и говорит: мальчик прицепился сзади к трамваю, долез до середины, а его между вагонами зажало на повороте к Сафиуллина. И это не смешно. А мне почему-то очень захотелось смеяться. И знаю, что нельзя, а от этого ещё больше хочется, все на меня смотрят — типа ой-ой, твой друг, а я стою и думаю, куда бы спрятать свой смех, как бы заплакать. Как у англичанки-то получилось, или тоже прятала? Когда нельзя смеяться, он всегда лезет, смех. И даже уже имя его не помню. Помню, что каникулы, если бы не каникулы, тоже бы отпустили. Если люди часто умирают, то часто будут отпускать, школа-то у нас одна в Бугульме — все у нас, кто может умереть.

Иностранец так и не отвечает, уже три раза подряд ему написала, ботеняй ятсыз.

— *let's meet in the bar*

Ответил!

А бар же прямо тут, в тринадцатом подъезде в подвале, так и называется: Бар-араки всегда бар. Уф улям. Ладно, а как я его узнаю?

— *tattoo on hand, red, bloody, very sad news*

Чё? Да ну, придурок какой-то. Ещё и извращенец, похоже. Не пойду никуда. Две ложки сиропа, и спать. А то опять раскашлялась.

— *Roxanne, put on the red light.*

Юлия ЕФРЕМЕНКОВА

Тимофей Гришин

Рассказ

Тимофей Гришин вот уже полгода живёт не совсем в мире. Он лежит на кожаном диване, смотрит через занавески на соседние дома, придумывает им имена. Дядя Вася, Степан, Маргарита. У Любки-24 так много жёлтых глаз, в которых по коврам бродят пушистые коты, грызут тапки собаки, бабушки поливают цветы, Галины в махровых леопардовых халатах слизывают с ложек торты.

— Ты когда к врачу пойдёшь? Записываю-записываю тебя. Дождёшься, Николай Иванович сам к тебе придёт.

Мама волнуется, готовит щи да пироги.

— Это из-за Вали? Тим, из-за Вали? Да? Хватит лежать уже! Сколько Валь у тебя будет-то ещё! Ну, смешно же! Ушла одна девка, придёт другая!

Пусть думает, что да, из-за Вали. Так проще.

— Депрессию лечить надо. Понимаешь? Светку знаешь из двадцатого дома? В лес ушла и таблеток наглоталась, уснула, обнявшись с деревом в позе эмбриона. Тоже депрессия-то была...

Двадцать три года — странный возраст для депрессии. Очень странный. В пятнадцать, шестнадцать, в восемнадцать — это бывает, это нормально. В сорок — непременно. Но вот в двадцать три...

Каждую ночь к Тимофею Гришину приходит Гитлер. Он проникает через окно, раздвигает занавески, берёт стул, подвигается поближе к Тимофею и сбрасывает усы. Исповедуется и обещает всё исправить, вытащить всех тимофеевых бабок из ленинградских могил.

— Всех оживлю, всё хорошо у них будет. И кота рыжего твоей бабки оживлю. Она его в кастрюле варила-варила, кипятила, резала. Оживлю, Тимош. Они так жить хотели.

За окном вороны каркают. Надо ехать в Германию.

— Давай, Тимош, на Рюгене встретимся. На Белой скале. Я тебе подарок сделаю. Скоро-скоро конец миру. Ещё сорок лет и конец! Приезжай на Белую скалу, я тебе подарю свой бункер.

В этих изматывающих невыносимых снах Тимофей всегда молчал, открывал рот, и выходила пузырями одна тишина. Хотелось спросить, возмутиться, ударить, сказать, что ему так больно, что хочется раскрыть окно и прыгнуть, но он лежал на кожаном диване и слушал безусого Гитлера.

Полгода назад, в конце января, Тимофей лежал с Валею на новой икеевской кровати, которую Валя подарила ему на Новый год, после чего, через несколько дней, вместе с псом, французским бульдогом Ватрушей, переехала жить в его комнату. Тимофей не мог уснуть, вертелся, мучился ещё непривычными для себя звуками — дыханием Вали и хрюканьем бульдога. За стеной храпела мать и громко тикали часы. «Как же обостряет одиночество бессонница среди спящих. Тик-тик-так. Тик-тик-так». Внезапно бульдог завыл, резко вскочил со своего кресла и в комнате завоняло дерьмом.

— Чёрт, Валя! Твой пёс кучу навалил! Проснись!

— А-а-а? Что? Зай, выгуляй его. Зай-й-й.

И, перевернувшись на другой бок, засопела. Ватруша навалил ещё кучу. Тимофей поплёлся босиком в ванну за тряпкой и бумажными полотенцами. «Блин, мама. Вот какого ты хрена собаке на ужин просроченный фарш скормила? Вечно жалко тебе всё выбрасывать. Но это ж не свинья — собака». Вернулся в комнату. Валя похрапывала, а он стоял на холодном паркете на четвереньках и вытирал говно её бульдожки. «Ага, значит, когда родит — ночами дрыхать будет, а я после трудового дня подгузники менять и попы мыть детям».

— Пойдём, пойдём, Ватрух.

Пока спускались по лестнице, Тимофей всё уговаривал бульдога: «Только не в подъезде. Потерпи, мужик, сейчас-сейчас. Хороший парень!». Открыв входную дверь, Ватруша сразу же уселся и никак не мог оторваться от земли, марал её, белую. Только сейчас Тимофей заметил, что курносая короткая мордочка бульдога всё же удивительно схожа с лицом его девушки. «Фу, как с ней целоваться-то теперь? Холод какой, чёрт возьми. Градусов двадцать точно. Ну пойдём, пройдемся, что ли».

Ветер хлестал по щёкам, увеличивал градусы, разгонялся в метель. Дома стояли тёмные и покойные, с опущенными веками. Фонари у подъездов спали чутко, быстро пробуждаясь от приближающихся к ним шагов, давали свет и снова погружались в дремоту. Снег под кроссовками трещал, ноги отмораживались. Ватруша дрожал и подвывал, тянул уже домой. Тимофей слышал, что его зовут — ледяным стоном металла. На детской площадке скрипели качели. Собака упиралась, поскуливала. «Нет, Ватруш, я по твоим делам ходил с тобой. Давай-ка и ты теперь. Пойдём-ка посмотрим, что там». Они пошли на неприятный скрип, режущий уши и сводящий зубы. Тимофей достал телефон, загорелось

время: два сорок восемь. Он включил фонарик. На снегу валялась женская сумка, три пивных банки, окурки. На старых ржавых качелях в белом пуховике раскачивалась девушка. Высоко — низко — высоко. Волосы, длинные и светлые, разлетались, как тысячи, миллионы, миллиарды лучей и ослепляли Тимофея сильнее бенгальских огней. «Белая птица, которой никак не взлететь». Тимофею показалось, что девушка плачет. «Катя. Это же Катя. Катя, с которой меня наказали в детском саду манной кашей. Все дети пошли на утренник, а нас оставили за столом доедать холодную манку. Ложкой давили в тарелки комки. Катя сидела рядом в нарядном китайском платище, светлые косички завязаны белыми бантами. Поливала свою тарелку слезами, просилась к маме. А потом её вырвало. И ещё раз вырвало. И ещё раз вырвало, и больше, кажется, она уже не приходила в садик».

— Катя?

Тимофей потянул Ватрушку, подошёл ближе к качелям и разглядел, что девушка действительно плачет.

— Ты чего? Что случилось? Ты чего ночью одна здесь? Холодно же. И без шапки.

Девушка остановила качели. Она сильно дрожала, хлопала носом. Посмотрела на него больно, как будто это именно он, Тимофей Гришин, её сильно обидел, выгнал из дома на мороз.

— Пиво хочешь? — Тимофея удивил её голос: низкий, грубоватый, совершенно неожиданный для такого нежного лица, хрупкой фигуры, для Кати с манной кашей.

— Да как-то пиво не по погоде... Возьми мой шарф лучше, он шерстяной. А я же тебя знаю. Мы в садик один ходили. Я Тимофей Гришин. А ты Катя. Не помню какая.

— Какая. Какая? Чёрт знает, какая я.

Ватруха скулил и тянул домой, Тимофей выронил поводок, и пёс тут же рванул в сторону дома. Тимофей стоял неподвижно. Девушка слезла с качелей и подошла к нему вплотную. Маленькая, какая же маленькая. Опухшие глаза, опухшие губы. Тимофею захотелось её обнять, расплакаться тоже, уткнувшись в её светлые волосы, согреться в этой чертовой вечной зиме. «Я бессилен. Как же я бессилен. Перед комками в кашах, перед теми, кто обижает таких красивых Кать».

— У тебя собака убежала. Иди. А то потеряешь.

Через два дня на дверях его подъезда висело чёрно-белое объявление. «Ушла из дома и не вернулась». Светлана Матвеева, 23 года,

рост 165 сантиметров, глаза серые, волосы светло-русые, особых примет нет. Была одета в белый пуховик, чёрные утги, джинсы синие. На фонарном столбе объявление. Светлана Матвеева. Ушла в ночь с 19-го на 20-е января. Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о местонахождении девушки, сообщите по телефонам... Уважаемые граждане. На каждом доме висит Светлана Матвеева.

«Я её видел. Я видел её? Я видел?». Тимофей Гришин работал в налоговой инспекции и принимал отчетности у юридических лиц. За окном жгло морозом солнце, разлетались голодные вороны, как чернила на промокашках. «Она же без шапки. Перчаток не помню. Маленькая такая. Птичка белая». Тимофей раскидал стопку с бумагами, накинул на плечи куртку, хлопнул дверью кабинета, выбежал. Захлебнулся светом. «Нет, когда такое небо голубое, ничего плохое же невозможно. Катя, Катя, Света... Обниму тебя, найду...»

Говорили, что Светлана Матвеева страдала депрессией. Жила с родителями. Работала каким-то там редактором в каком-то там интернет-издании, играла на ударных в какой-то там непопулярной андеграунд группе. Тимофей больше не ходил на работу. Днями он чесал лес и нюхал деревья. Он сочинял молитвы. «Боже Милостивый, спаси, сохрани... Господь Всемогущий выведи на дорогу верную...» Лежать на икеевской кровати в одной комнате с Валею и Ватрухой он больше не мог. Ушёл в гостиную на кожаный диван, к окну. Выходил ночами к качелям. Плакал, разрезая ледяным металлом уши. Пять дней не спал. На шестой пришёл Гитлер.

— Тим, умерла она. Прости. Нельзя таким жить. Её никогда не оживить. Им от всего больно. Небо голубое, а им больно. Россия, Германия. Им всё больно. Они отравляют свет. Отравляют таких нормальных, как ты. Бабок твоих, прабабок могу оживить, а таких, как она — нет. Ты приезжай на Рюген, там бункер мой запрятан. Спасу тебя. Конец миру скоро, зальётся слезами.

Елена ИНОЗЕМЦЕВА

И писем нет.
И виснет интернет.

Шум электрички, проездной билет,
осенней хмарью тронутый Берлин...

Мы друг без друга осенью болим,
как лёгкие, глотнувшие октябрь.
Река качает пристань, и корабль,
и тучи, проплывающие в ней...

Мы друг без друга сотни хмурых дней
прожили, хоть не верили в прогноз...
Жизнь состоит не столько из полос
чёрных и белых, сколько, как Берлин,
из двух разъединённых половин...

Качает пристань скорбная река.

Я вытерплю разлуку от звонка
и до звонка...

... но писем нет как нет.
и виснет ненавистный интернет.

Фотография 37 года

всё было так и дальше будет так:

под серым небом высится маяк
по берегу бегут сухие стебли
и чайки говорят на языках
подслушанных на тех торговых судах
что в порт приходят рано поутру

по-прежнему на рынке пахнет рыбой
капустой зеленою
морским холодным ветром
и колокол на башне местной кирхи
отсчитывает дни недели годы

по-прежнему печалится Мадонна
в квадрате деревянной чёрной рамы
изъеденной живым древесным червем
(как мало здесь осталось прихожан)

всё это повторится несомненно

и этот мальчик в шапочке смешной
держась за руку мамы
будет прыгать
по старому щербатому асфальту
по утренним слегка подмёрзшим лужам...

всё будет так
покуда не начнётся
какая-нибудь новая война

Уедешь однажды в далёкую даль,
где поле звучит, как концертный рояль,
и травы танцуют балеты,
и сцена их — целое лето.
Где в небе-экране покажут кино
о том, что (ты думаешь) было давно
(но в общем, не так и давно)...
А к вечеру станет темно.
И синие звёзды, о прошлом скорбя,
всё будут смотреть, и смотреть на тебя,
и видеть лишь слабенький свет,
мерцающий тысячи лет —
твой свет.
А тебя уже нет.

Александр ЛАНИН

Потёртый френч — немодный уже лет шесть,
Вечная трубка, взгляд — скупой и неброский.
Вечную ручку берёт, как прыгун — шест,
Иосиф Виссарионович Бродский.

За деревянной дверью ни волхва, ни вола.
В шкафу ни скелета, ни поллитровки.
Звёздное небо письменного стола —
Это оспины отражаются в полировке.

Текст состоит из предателей и ворья,
Так лица с наплывом делаются зернистей.
Он взмахивает рукой и выводит: «Я
Терпеть не могу амнистий.

Потому что, когда в деревню войдут зека,
Ни в лес не уйти, ни в небе не схорониться».
Поэт — один на кончике языка.
Тиран — один — меньше, чем единица.

С трибуны чужой гробницы стоять, глазеть,
Посадив народ на амфир и воду.
Мир состоит из понятных ему газет
И людей. Но люди требуют перевода.

Вечность раскурена, времени пять часов,
Ночь давит на плечи — баба, а с шеей бычьей.
За окошком лает созвездие гончих псов,
И чёрные точки движутся за добычей.

А. Д.

Как только с другой стороны оказываются люди,
Война разворачивается, как баба, плавно и не спеша.
У Петера Зауэрапля заклинивает люгер.
У Сани Петрова перекашивает патрон в ПППШ.

Чумазые лица ангелов неременным добром согреты,
Приклады рогов спилены, чтоб не мешать полёту.
Майор на морозе курит трофейную сигарету:
«Ёпта, — говорит, — умеют же, ёпта».

Лёха и Олексій — на гражданке, считай, соседи,
Харьков, Алексеевка, школа сто сорок девять.
После перестрелки оба идут в соцсети,
А что ещё после боя в мокрой палатке делать.

Время латентных войн (модно писать: гибридных).
Олексій и Лёха спорят в коментах о зрадах и перемогах.
Только вот бабы плачут, только вот парни гибнут,
Хотя сволочь-статистика говорит, что меньше, чем на дорогах.

САУ лупит нещадно, видимо, падла, любит.
Чинарик, он же недопалок, чиркает о страну.

Как только с другой стороны оказываются люди,
Ты проиграл войну.

Зарисовка

Сортир - дощат, приземист, дачен,
По пояс в родину забит,
Как женщина, многозадачен,
И, как мужчина, незлобив.
Он ни на что не даст ответа -
На чём стою, куда иду...
В нём ромбик солнечного света
Справляет малую нужду.

Arno Holz / Арно Хольц

Перевод: Александр Лакманн

Verliebte Miniatur / Самовлюблённая миниатюра

In
ihrem verschlissenen Musselinkleidchen,
das ihr
so
allerliebste, reizendste und ehrpusselig steht,
drauf
rote Herzen als Blumen blühn, und das zu ihrem
Brautabend schon
die Großmutter trug,
sitzt,
über ihr
Nähzeug gebückt,
die kleine Madonna mit den strahlenden
Goldscheiteln.
Der
Flieder,
durchs offene Fenster,
duftet.
Ein Augenaufschlag:
Willst du mich küssen? Komm!
Dann senkt sie wieder blitzschnell die Wimpern.

В
платье муслиновом, скромно закрытом,
что ей
так,
право, вне всяких сомнений, к лицу,
кантом
красных сердечек ажур, в котором
бабушку некогда
вели к алтарю,
склонившись с
иглой в руке,
малышка-мадонна сидит,
гребень златой в волосах.

И
волны
сквозь окно сирени
льются.
Вдруг взгляд невинных глаз:
«Так что, поцелуешь? Ну!»
И тут же быстро опустит ресницы.

Christian Morgenstern / Кристиан Моргенштерн

*Перевод: Александр Лакманн***Der Seufzer / Вздoх**

Ein Seufzer lief Schlittschuh auf nächtlichem Eis und
träumte von Liebe und Freude.

Es war an dem Stadtwall, und schneeweiß
glänzten die Stadtwallgebäude.

Der Seufzer dacht an ein Maidelein
und blieb erglühend stehen.

Da schmolz die Eisbahn unter ihm ein —
und er sank — und ward nimmer gesehen.

Скользнул чей-то вздох вечерней порой,
Сверкая коньками стальными.
Всё мимо домов и стены городской,
Что в сумерках зимних застыли.

Скользнул чей-то вздох, мечтая о той
Девчонке из города рядом.
Внезапно трамвай прогремел за спиной.
И вздох подевался куда-то.

Григорий Аросев

Лёд

Рассказ

— Как сам, Иннокентьич?

— Всё в порядке, идём ко дну!

— Я смотрю, ты опять со своими ключами?

— Ну, это... привычка...

Иннокентьич — Иван Бессонов — конфузно сунул два ключа, каждый на отдельном брелоке, в карман когда-то недешёвого, но теперь навек пропахшего безнадёгой и унынием пиджака. Вдобавок к общей нелюдимости была у Ивана странная брезгливая привычка: он не мог дотрагиваться до кнопок лифта. Любого. Бессонова буквально кривило от отвращения, что его пальцы прикоснутся к той же поверхности, которую щупали тысячи других. Поэтому, где бы то ни было, заходя в лифт, он вытаскивал ключ и им нажимал нужную кнопку. На работе же ему приходилось использовать так и вовсе два ключа, так как, помимо вызываемого этажа, он ещё судорожно давил новомодные стрелки, направленные друг на друга — «закрытие дверей». Это требовалось ему для того, чтобы сократить до минимума вероятность поездки в лифте с коллегами и студентами. Он старался совсем не общаться с людьми.

Да, почти со всеми.

Нет, не мизантроп.

Просто он отвык. Отвык общаться, отвык быть частью общества, отвык отвечать на какие-либо вопросы, помимо рабочих. Он даже боялся, что его из-за нелюдимости начнут стыдить собственной фамилией. Иннокентия Бессонова помнили. Как иначе-то... И это хорошо ещё, что ребёнок учится в другом районе, а Рита так и вовсе не имеет отношения к науке. Да и к нему. А у Инны другая фамилия — мало кто знает, что они брат и сестра. Иначе был бы совсем позор. Такой человек — и вдруг брат, который сторонится людей, а когда с ним заговаривают, экает, мэкает, жмётся да кряхтит.

Бессонов уже привык к своему вечному эмоциональному отшельничеству. Странно — всего лет десять, как он перестал, как бы выразились его студенты, пинговаться — реагировать на внешние запросы. Десять. Много, но не вся жизнь. Даже не половина, даже не четверть. Чуть меньше четверти, чуть больше одной пятой. А кажется, что всегда. Время, о физических свойствах которого

Иван иногда говорил на лекциях, на деле оказалось гораздо... нет, не гораздо, а совсем неощутимым, каким-то плотным, что ли? За ним уже ничего не видеть. Ивану не казалось, что у него была другая жизнь. Ему вообще не казалось, что он жил раньше. Не существовало Ивана Бессонова — и всё. А потом вдруг он появился — и сразу преподавателем, подчас забывающим побриться, с взглядом, в котором отражается бездна, стесняющимся всего и вся. Бесчестье семьи, сказала однажды Рита. Чьей семьи-то? Инна, например, никогда не чуралась его и не дичилась, даже не ругала особо, ибо чего тут ругать? Тут надо либо пристрелить его, либо любить и терпеть. Но Рита-то какова? Она Инне не то что советы — кофе давать недостойна. Разве что полы ей вымыть может. Но вишь, как всё обернулось. Рита считает, что она на одном уровне с Инной — хотя их роднит только то, что обе женщины — и поэтому может так к нему относиться. А ребёнок в принципе не думает о нём. Может, это и хорошо.

Хорошо и то, что им удалось разъехаться. Хотя ещё бы не удалось — поменять четырёхкомнатную квартиру на проспекте Ленина на однушку и двушку в других районах ума не надо.

Иван вздохнул и покорно пошёл к автобусной остановке — на маршрутку денег никогда не хватало.

Жили-то они очень и очень красиво. Повезло даже. Каким-то хитрым образом их отец, Иннокентий Варфоломеевич, ректор университета (разве с такими именем-отчеством можно работать на мелкой должности?), умерший уже лет тридцать назад, сумел пробить себе огромную квартиру прямо у центрального сквера. Чего это ему стоило — каких нервов то есть — никто не знал. Зато семья его жила пусть и не всегда богато, но зато удобно: куда ни поедешь, более получаса добираться не нужно.

Вначале, после смерти мамы, ни Иван, ни Инна и думать не хотели о переезде. Куда ж переселяться? Но потом всё само закрутилось, к Инне, уже тогда отнюдь не последнему человеку в областном правительстве, быстро подженился подлец Карпов (Иван его почему-то называл исключительно Карасёвым), а Иван искренне очаровался Ритой Тойгильдиной. Так быстро всё и поменялось: Рита и Иван стали жить-поживать в маминой квартире, а Инна переехала к Карас... то есть к Карпову, да так там и осталась. Карпов, бросив её через пять лет ради какой-то невнятной тётки в Братске, оставил квартиру — поэтому Инна на него особо не сердилась, да и дочка у них получилась просто расчудеснейшая. А вот Ивану пришлось сложнее: Рита, не вытерпев нищего положения мужа (это замечать людей он перестал потом, а вот работал, то есть преподавал за копейки с самого начала), десятилетие спустя затребовала развода и размена жилплощади. Бессонов с тоской пошёл к Инне за советом, но та лишь ругнулась без злобы — что, мол, поделаешь, раз до такого дошло, не солить же

эту квартиру теперь. Так и оказался Иван в ЖБИ — на адской окраине, да ещё и в самой её клоачной части, у выведенной наружу канализационной трубы, в ближайшем к городской свалке микрорайоне. К нему туда добиралась только Инна. Впрочем, более интересоваться его жизнью было некому.

Конечно, развод с Ритой был неизбежен с первого же дня после свадьбы. Дело было лишь в сроках, когда это случится. К Ивану Рита ни дня не питала ровным счётом никаких чувств, но ей страсть как хотелось пожить в центре города, вот и решила принять ухаживания двадцатипятилетнего кандидата наук. А его, унылого, тощего, хотя и добродушного типа очень пленила полноватая крапшеная блондинка, которая много и развесисто болтала, часто смеялась, никогда не отказывала (до свадьбы) в близости и питала глубочайший — и неподдельный! — пиетет к Инне. Да, отношение к Инне стало едва ли не решающим (мамы-то уже не было). Бессонову очень льстило, как Рита отзывалась о ней. Но разве могла простая продавщица, окончившая техникум, иначе думать о его сестре? Ещё тогда было видно, что Инна сделает не абы какую карьеру. Сразу после защиты диплома её пригласили на работу в облининистерство — вначале простым специалистом, но для Риты это почти равнялось должности министра. А когда Инна одну за другой стала брать рекордные высоты — старший специалист, ведущий специалист, консультант, заместитель начальника отдела (какие-то ступеньки просто-напросто перескакивая), Рита при упоминании её имени впадала в благоговейный транс. Хорошо хоть, что основной этап восхождения Инны (замминистра, первый замминистра и — страшно сказать! — областной министр финансов!) начался уже когда они — Рита и Иван — развелись. А то Рита просто уничтожила бы его. Сам-то Иван что — как пришёл на ставку преподавателя, так с неё и не слез за двадцать с лишним лет. Перемены случались везде: в стране, в семье, во внешнем виде, в мировосприятии, но не на службе. А Инна...

Впрочем, сама она воспринимала свои успехи без явного восторга. Она была человеком довольно амбициозным, пробивным, но отнюдь не грубым и не резким, порой даже чрезмерно мягким и податливым. Поначалу, на низшей ступени служебной лестницы, занятость в министерстве ничем не отличалась от других компаний, как государственных, так и частных. А затем в Инне проявилось нежелание делать резкие повороты. К переменам она относилась прохладно, поэтому и не переезжала больше, хотя могла, и волосы красила редко, и, главное, менять работу не стремилась. Она считала, что куда её завела судьба, там она и должна добиваться максимума. Но зато и халтурить не любила. И хотя она неоднократно жаловалась Ивану, что с бóльшим удовольствием выбрала бы другой путь, такой, по которому пошёл брат («Уйти бы в математики.

С цифрами работать, статистикой где-нибудь ведать — мечта»), на самом деле она была собою довольна.

Они — Инна и Иван — отобижались друг на друга ещё в детстве. Отспорили своё в отрочестве. И в расцвете молодости, до отрадности вовремя, поняли, что другого человека не переделать, зато можно разойтись навсегда — и это будет пострашнее разводов с Алёшей Карасёвым и Ритой Тойгильдиной. После смерти мамы Иван и Инна поняли, что социальная про́пасть, их разделяющая, понемногу расширяется, и есть все шансы рухнуть в неё. Поэтому они держались друг за друга всегда, и ни один не считал чудом, или особого рода родственным мезальянсом, регулярно повторяющуюся ситуацию, когда в пять вечера Инна ещё на совещании у губернатора, а то и полпреда, а в шесть — в бедноватой квартирке Ивана на ЖБИ.

Однако же общение их бедным назвать было нельзя. С сестрой Иван никогда не смущался и не робел. За пределами аудитории, где он просто забывал обо всём, уходя в мир формул и цифр, единственно с Инной он чувствовал себя личностью. Потому что единственно Инна спрашивала его мнение. Абсурд: министр спрашивает мнение скромного преподавателя, как ему, министру, справиться с теми или иными рабочими обстоятельствами. А скромный преподаватель иногда даже сбивается на поучения министру, хоть потом и извиняется за это.

Инна при этом никогда не чехвостила брата. Понимала: хоть и есть за что, но почти каждое критическое замечание наверняка отзовется в нём так, что он едва ли оправится. Поэтому, стиснув зубы, терпела. А терпеть тоже приходилось. Она, как, впрочем, и почти любая женщина, с трудом выносила «творческий» бардак в квартире, который регулярно возникал благодаря рассредоточенности Ивана. Но главное — пренебрежение брата самим собой. Иван и так не относился к «её» типу мужчин (ей нравились покрепче и чуть понаглее), а уж после того, как он перестал думать о своём внешнем виде... Горько и обидно было ей иногда на него смотреть. Но она ни разу не выдала себя. И пожаловаться на него было некому. С женщинами он завязал, похоже, ещё раньше.

Однако же и Ивану приходилось пересиливать себя. В его некогда беззаботную и трогательно рассеянную сестру медленно, но неотвратимо вселился чиновник. Она выглядела по-чиновничьи — строгие костюмы (ей бы скрывать нижнюю часть и подчеркнуть верхнюю, а она делает наоборот, не без внутреннего содрогания думал Иван ещё много лет назад), минимум косметики, причёску не меняла уже лет пятнадцать, хотя это и причёской-то назвать нельзя. Но — что гораздо хуже — Инна стала говорить как чиновник. И, наверное, мыслить. Ей становилось всё сложнее думать другими категориями.

Колоссальная ответственность, лежащая на ней как на министре, заставляла ее постоянно оглядываться, перестраховываться, уточнять и проверять, остерегаясь необдуманных действий. По той же причине Инна с трудом понимала свою дочь, такую же развеселую оптимистку, какой она сама была лет в пятнадцать-двадцать. Здесь помощь Ивана была просто неоценимой. Он, вылезая из оболочки внешней робкой неприкаянности, преображался и напоминал ей, что школьница по умственному развитию не может быть министром, а ошибки ей совершать просто-таки необходимо. Инна, к счастью, никогда не опускалась до очной брани в адрес дочери (каждый раз во время домашних споров она горестно восклицала: «Я отказываюсь с тобой разговаривать, Полина!» — и ничего более острого себе не позволяла), поэтому всё чаще прибегала к брату за поддержкой.

А Иван просто видел в ней последнее подтверждение своего существования.

Больших денег он, конечно, никогда не зарабатывал. Но и выключенным из жизни он себя не ощущал до поры. Он был — да, не модным, да, чуть застенчивым, но вполне себе симпатичным юношей, а затем — молодым мужчиной. Он не без удовольствия, когда выдавалась возможность, высказывался на все возможные темы, от политики (благо наконец-то появилось что обсуждать) до погоды, от своей математики до кино. Он даже на гитаре поигрывал. Студенты, когда он начал преподавать, его уважали, хотя поначалу, естественно, он их возрастом опережал лишь ненамного. Но он умел острить и даже порой язвить, при этом совершенно не стараясь кого-то поставить на место. Позволяла ситуация — он шутил, мог даже, подмигнув, вставить матерное словцо. Ему грубили — он многозначительно молчал, а затем говорил: «Ну, а что ещё вы мне скажете?» Его спрашивали о чём-то не очень этичном (к примеру, не по благу ли он получил место преподавателя — первое поколение его учеников ещё знало, кто был ректором несколькими десятилетиями ранее) — он не стеснялся отвечать подробно и аргументированно.

И не пил ведь. И жене — мещанке до последнего предела — ни разу не изменил.

«Несчастье твоё в том, что ты женился на работнике торговли», — серьёзно, хотя и проничным тоном однажды сказала брату Инна. «Ну, а что я могу поделать?» — пожал плечами Иван. «Подыскать кого-то, кто разделял бы твои взгляды на жизнь». — «Иннуль, ну что ты говоришь. Не на взглядах же женятся». — «А на чём?» — «На человеке». — «А что такое человек, если не взгляды?»

Тут Иван замолчал, потому что Инна была права. Но признаться сестре, успешному обеспеченному человеку в том, что он, кандидат наук,

преподаватель информационных систем, живёт с женой только ради плотских утех — решиться на такое он никак не мог. Ну а Рита успешно продолжала зло, по-сучьи нападать на добродушного, безответного мужа, и если раньше это происходило раз в месяц, то потом всё чаще, чаще, и в результате нормально они уже не общались. Абсурдность ситуации заключалась в том, что жили они хорошо. Но исключительно благодаря Рите, что она прекрасно понимала и, сознавая величие своей жертвы, всячески выпячивала. И ведь не скажешь ей ничего: да, действительно, мужчина — по идее — должен содержать семью. А Иван не содержит. Инна в последние пару лет совсем перестала ходить к ним в гости, потому что возражать Рите не хотела. Идти против её примитивной, но убедительной логики она не могла из принципиальных соображений — не хотелось отрицать очевидного, но и выслушивать бесконечные жалобы в адрес собственного брата не собиралась. А уж вступать в спор, доказывая, что иногда люди могут выходить за рамки стереотипов, крушить стандарты и давить клише, Инна и подавно не планировала — бесполезно. Рита брала бойкой речью. Она говорила быстро, уверенно (с покупателями иначе же нельзя), но мысль её простиралась до очень и очень близких границ.

В итоге терпеть ей надоело, и она в открытую заявила Ивану, что хочет развестись. Вот так прямо и сказала — хочу и точка. Все сопутствующие детали — суд, размен, разъезд — она берёт на себя, если он согласится. «Впрочем, — усмехнулась Рита, — выбора у тебя особо нет. Ты можешь только усложнить всё, но не изменить». Осознание, что она настроена серьёзно, пришло слишком поздно — когда ему вручили повестку в суд. Ранее проявившиеся симптомы (его переселили в другую комнату, Рита за полночь начала на кухне с кем-то болтать и сдавленно смеяться по телефону, а , пятилетний ребёнок однажды спросил: «А ты правда больше не папа?») его почему-то не насторожили.

Тем же вечером он вытащил из семейной шкатулки (Боже, ну что за рутинная пошлость! Почему нельзя деньги хранить просто так, в ящике каком-нибудь — обязательно надо было купить подхоломскую безвкусицу со спецмиссией) тысячу рублей и выскользнул из дома. Стоял душнейший июль, никакого намёка ни на дождь, ни на похолодание. Бессонов купил пять штук «Балтики» (взял бы другое, но в спиртном совсем не разбирался) и пошёл на набережную. Отыскал пустую скамейку, занял её и быстро, одну бутылку за другой, выдул всё пиво. Вокруг ходили люди, кажется, кто-то с ним даже поздоровался. Ничего удивительного, город не очень большой, а студентов через него уже тогда прошло немало. Иван, окончательно опьянев, стал разговаривать вслух. Он сбивался с мысли на мысль, говоря то о математике, то о политике, то кляня Риту, то плача о родителях. Он хотел позвонить Инне, но обнаружил, что забыл мобильник дома. Он хотел к ней поехать, но от выпитого

забыл её адрес (*этот Карасёв заперся хрен знает куда!* — впрочем, жила сестра хотя и в удалённом от центра, но вполне престижном райончике). В итоге Бессонов разрезался, лёг на скамейку и уснул. К холоду он был весьма невосприимчивым, так что погода сыграла за него — зимой он бы замёрз до смерти, или по крайней мере до какой-нибудь двусторонней пневмонии. В сон провалился Иван ещё тем же. А вывалился из него уже другим. Не тем же. Никаким. Никем.

Он ошалело встряхнулся, поднялся со скамейки и чуть не упал от головокружения. Задуматься о чём-либо не удавалось. Бессонов махнул рукой и пошёл домой. И больше никогда не возвращался — к себе прежнему. Его человеческое достоинство оказалось фатально надломленным двумя случаями: повесткой в суд и сном на скамейке. Как, как он докатился до такого, что позволил жене так с собой поступить? КАК?! Как он позволил себе, уважаемому человеку, известному преподавателю, видному учёному (последнее, впрочем, было самоутешнением) так осрамиться — разлечься на набережной и уснуть? А вдруг бы его увидели? А вдруг Рита развонит, что подала в суд, а ведь она наверняка развонит? Ужасная, неотступная боль позорного изумления разрывала Ивана, и он от неё так и не оправился, увязая в гибельном кошмаре всё сильнее и сильнее.

Из карточного домика вытянули нижнюю карту и всё рассыпалось до обидного мгновенно. На суде Иван вёл себя вяло, со всем соглашался, ни на чём не настаивал, ничего для себя не выгадывая. Рита даже прошипела ему, мол, не будь как робот, а то ещё запросят твоего медосвидетельствования, ты же ведёшь себя как обкуренный. Бессонов не очень хорошо её понял, но бодриться всё равно не стал. Далее от него потребовали подписать миллион бумаг, но тут Иван из последних сил напрягся и всё прочитал. Но не обнаружил там ни чего-то хорошего, ни чего-то нового: размен квартиры, доверенности, какие-то дополнительные соглашения. От желающих получить их квартиру, как ему потом рассказывала Инна, пришлось чуть ли не прятаться — обмен был для той стороны выгодный. Впрочем, Рита с ребёнком тоже не осталась внакладе, так как им удалось отхватить двухкомнатную у старого автовокзала плюс нехилую сумму в довесок. И лишь кроткого Ивана больше ни о чём не спрашивали. Его поставили перед фактом: ЖБИ. И всё.

Оказавшись там, он окончательно впал в замогильную тоску. Шутки шутками, но жить в центре он привык. Он не исключал, что когда-то, возможно, переедет, и такой переезд в любом случае станет шагом назад, поскольку центреее прежнего жить невозможно. Но квартирка в сорок два квадратных метра, без балкона, с плохонькой канализацией, повсеместно отстающими обоями и порезанным паркетом (Инна ни разу в жизни в этой квартире не разулась) — к этому Ивана жизнь не готовила. Он смотрел на своё новое жилище и добрых пару лет не мог смириться: что это? Почему? Так он и не выбрался из болота

непонимания, стыда и методично раздирающей грудь боли. Душ, конечно, принимать не перестал, но каждый раз забираться в проржавевшую ванну было немалым испытанием для нервной системы. Брился невнимательно, расчёсывался халтурно — особо не видел повода. Постепенно Бессонов превращался в Робинзона: общаться доводилось либо с Инной (чему он искренне радовался, но случались их встречи от силы раз в пару недель), либо с коллегами, но очень кратко и сугубо по делу. Друзья же, приятели и знакомые каким-то загадочным образом отсекались.

Получки Бессонову хватало лишь на примитивную еду да на квартплату. Раз в пару лет покупал себе новые ботинки. Через три года неимоверным усилием скопил на переклейку обоев (сами обои стоили не так дорого, но мастера просили несусветных денег), но о современной сантехнике и новом паркете следовало забыть навек — как и о новом костюме, кстати. Книги читал только те, что появлялись на факультете. Города Иван не покидал уже много лет.

Инна, конечно, зарабатывала. И даже больше Риты — впрочем, это неудивительно. Ей и без откатов и взяток, чего она себе никогда не позволяла, всего хватало, и побег мужа на это мало повлиял. Дело было в том, что она ни в чём особо не нуждалась. Машину не покупала (в том числе из-за нежелания менять уклад жизни; вначале преспокойно ездила на транспорте, потом для поездок на работу выделили служебную, а по личным делам она вполне могла себе позволить такси — впрочем, и даже в ранге министра не чуралась маршруток или автобусов), дачу не хотела, а на учёбу дочери, скромные путешествия и регулярно, хоть и однообразно пополняемый гардероб зарплаты хватало с избытком. Именно с избытком — к концу каждого года на счету Инны Карповой скапливалась вполне себе приятная сумма, которой можно было покрыть любой (по её меркам) каприз. Не один раз и не два Инна предлагала Ивану помочь с более серьёзным ремонтом, что же теперь, погибать, раз волею богов ему выпало обитать на ЖБИ? Но он отказывался с нетипичной твердостью. А сменить род деятельности он не мог, поначалу просто ленился, а далее на это уже просто не доставало жизненных сил.

Иван и Инна часто болтали о детских годах. Разница в два года — её, почитай, и нету вовсе. Ровесники, воспоминания одинаковые, ощущения преимущественно тоже. Говорили то об одном, то о другом. Однажды, уже когда Инна всюю трудилась министром, расчувствовавшись, они рассказали друг другу о первых мечтах — несмотря на многолетнюю дружбу, об этом они раньше не заговаривали. Иван хотел стать таксистом, Инна — артисткой. «Какие-то мы с тобой неоригинальные», — засмеялась Инна. «Зато сейчас оригинальнее не придумать», — с мрачным видом пошутил Иван. «А потом?

О чём ты думал классе в седьмом-восьмом?» — «Наверное, хотел сидеть за ЭВМ и делать что-то умное». — «Получается, всё сбылось? Ты же сидишь за компьютером на факультете и какие-то формулы пишешь». — «Получается... Да чёрт знает что получается. Я не очень хорошо помню, что тогда было». — «Я тоже плохо помню, — призналась Инна. — Но врезалось в память, как однажды я с Леной — Лену-то не забыл? — лет в четырнадцать обсуждала будущее и заявила, что буду великим человеком. Так и сказала — великим». — «Ну, а теперь ты считаешь себя великим?» — «Смеёшься, что ли?» — «Почему же — ты довольно известная теперь. Решаешь большие дела, влияешь, определяешь. Я тут случайно обнаружил, что про тебя даже статья в википедии есть». — «Да я уж тоже заметила». — «Про невеликих людей не пишут». — «Да, только ты, наверное, одну деталь не увидел». — «Какую?» — «Что там было написано сверху?» — «Не прочитал, наверное». — «А я прочитала. Там светилося: *Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин смотрите здесь*. Я нажала на это *здесь* и увидела, что в статье *не показана значимость*. Понимаешь? Значимость!» — Инна сардонически засмеялась. «Я слегка запутался». — «Моя персона недостаточно значима для википедии. Теперь понимаешь?» — «Это они, конечно, хамы...» — «Да ничего не хамы. Всё по делу. Кто я такая? Ну, министр, но ведь не федеральный же. Нас таких во всех субъектах — сотни, буквально сотни. Иногда мне кажется, что министерский статус нам дают для утешения. Мол, потешьтесь, детки, звучной должностью. На самом же деле мы мало чем отличаемся от заместителей и начальников отдела. А про них в любом случае никто не будет писать статью. Так что значимость моя вполне определённая, как и великость...»

* * *

Однажды Ивану стало плохо. Прямо на лекции. Попросил открыть окно, подышал, но не помогло. Пришлось ковылять в деканат и вызывать скорую. Позвонил Инне — она, разумеется, перепуганная до чёртиков, прервала командировку по области и часа в два пополудни вернулась в город.

— Страшного ничего нет. Но есть риск ишемической болезни, — сообщил доктор в больнице. (Он с крайним интересом оглядывал растрёпанного пациента в неубедительном пиджаке и богато, хотя и неброско одетую женщину, отрекомендовавшуюся сестрой. *Знаем мы этих сестёр, ага.*) Инна, услышав диагноз, вопросительно посмотрела на врача, а Иван ещё больше затосковал — он неплохо знал, что это за болезнь, в своё время дядя Риты, неплохой мужик, допился до расслоения аорты, а Иван при подготовке к похоронам сугубо от любопытства прочитал немало спецлитературы. Врач вкратце пояснил, в чём дело.

— Есть риск самой болезни или инфаркта? — спросила Инна. Доктор замялся.

— Пока сложно сказать, обследование надо делать. Но в любом случае страшного ничего не случилось. Вы же не пьёте?

— Нет, и не курю, — ответил Иван.

— А двигаетесь много?

— Маловато, честно говоря.

— Значит, виновато это и, возможно, ещё играет роль наследственность. Всё поправимо, хотя, если вы хотите всерьёз исследоваться и лечиться, это стоит денег.

Тяжёлый молот ударил Ивана по темени.

— Чего... стоит, извините? — задал он идиотский вопрос.

— Денег, денег, Иван Иннокентьевич.

— И... много?

— Сложно сказать, но тысяча сто — сто десять точно.

Ивану показалось, что за эти десять секунд инфаркт из возможного уже стал реальным.

— Ну, вы подумайте и решите, а потом заедете, — поспешно сказал врач, почувствовав, что разговор идёт как-то не так. Тут у него в голове что-то щёлкнуло и он обратился к Инне: — Простите, а вы, случаем, вчера не...

Накануне по местному телевидению транслировалось открытое заседание областного правительства, а затем Инна давала интервью. Вероятно, доктор смотрел телевизор и запомнил её лицо.

— Да, да, я министр финансов области Карпова. Это как-то повлияет на решение? — раздражённо прервала его Инна.

— Вы можете пройти со мной в коридор? — бесцеремонно, как будто Ивана в помещении вовсе не было, спросил доктор. Инна кивнула и они вышли из кабинета. Бессонов, чувствуя себя хоть и не униженным и оскорблённым, но в очередной раз незамеченным, в бессильной злобе лёг на жёсткий диванчик для осмотров.

— Понимаете, нет никакой возможности сделать процедуры бесплатными. По ОМС сейчас это не провести. Но даже если бы я как-то ухитрился это продать через квоты, на лекарства уйдёт больше, чем три четверти всей суммы. А уж лекарства стопроцентно не оплатит никто, поскольку случай не острый. Поэтому вам лучше не рисковать — время такое, если вдруг узнают, что вам — вам! — дают какие-то поблажки на двадцать тысяч рублей, голову снимут со всех. Но учтите, чтобы полностью исключить риск для жизни Ивана Иннокентьевича, начинать надо поскорее, — торопливо пояснял доктор.

Инна кивала. Она бы без проблем оплатила лечение брата, если бы не

два «но». Во-первых, его ещё надо было уговорить — денег у неё он не возьмет. А во-вторых, она только что на новый год летала с дочерью в Таиланд, и там им жутко не повезло: с разницей в два дня какая-то местная гадость укусила вначале Полину, а потом её саму. И если Инна отделалась сравнительно легко, то дочь провалялась в местной больнице восемь дней из четырнадцати. Несчастливое совпадение, конечно, но все деньги со счёта ушли на её лечение — страховая компания отказалась перенимать расходы. А теперь Иван...

— Послушай, Вань, не буду скрывать, у меня сейчас нет денег. Я лично ни в чём не нуждаюсь, но сто тысяч я не могу завтра вытащить из кармана. Я могу взять кредит или в долг, но для этого нужно время. Немного, но нужно. Несколько дней. Может, я просто на работе попрошу в счёт зарплаты. Посмотрим. Но главное — я хочу знать, что ты не будешь артачиться и упираться, как ишак, — вполголоса деловито говорила Инна в маршрутке по дороге на ЖБИ. Машину пришлось отпустить, а на такси Иван в жизни не согласился бы.

Полминуты ехали в тишине.

— Так чего ж ради меня-то... — промычал наконец Бессонов.

— Господи, ну я так и знала, что ты начнёшь. Умереть хочешь, да? Жить надоело, несчастненький? — не сдержалась Инна. Иван молчал. Умирать ему до ужаса не хотелось — осознание этого пришло как раз в те минуты, когда доктор и сестра говорили в коридоре. «Себя и свой жребий подарком бесценным твоим сознавать» — вдруг откуда-то из несуществующей жизни всплыли строки Пастернака.

— Иннуль, я не хочу быть в тягость...

Услышав это, Инна успокоилась — такими словами Иван обычно предварял своё согласие принять чью-то помощь (правда, таких случаев за последние десять лет почти не бывало). Она проводила его до квартиры, спешно вызвала такси и поехала в министерство.

Через несколько часов она вышла из универсама на том же ЖБИ, открыла только что купленную бутылку коньяка, приложила к ней и направилась в сторону дома Ивана. Ею владела смесь отчаяния, бессильной злобы и отвращения ко всему миру, за очевидным исключением. «Министр, блин, Карпова, — довольно громко говорила она вслух, на ходу пьянея. — Карпова-то я, конечно, Карпова, но какой же я, к чёрту, министр? Министр хоть что-то решает. А мне эти суки просто *позволяют* решать или не позволяют. Даже на свою судьбу не могу... Значимость — нулевая. Чего добились-то? Даже на социалку дополнительно не удалось... Зачем я вообще? Полине всё до лампочки. И Карпов свалил. В Братск, сдохнуть можно, в Братск. И у них ведь там всё хорошо, у гадов. А я? Кому нужна-то, министр хренов? Тяну всех, как мужик. И семью, и область. А женщину-то кто во мне видит? Хоть раз мне хоть одна

сволочь помогла? Кто меня вообще любит? Ну да... Только Ванька и любит. Всегда со мной. А я с ним так...» Инна неумело разрыдалась, не закрывая лица.

...На работу Иван, конечно, решил уже не возвращаться. Пошёл домой, чувствуя странное оживление. Залез в душ, побрился, побрызгался какой-то дрянью, хранимой для особых случаев, вымыл посуду и слегка прибрался в квартире. Он даже позвонил Рите, чтобы узнать, как дела у ребёнка. Та сварливо отбарабанила обычные фразы (о здоровье, об учёбе), и бросила трубку. Инна должна была приехать следующим утром — обещала заглянуть до работы, провести. Иван, поговорив с бывшей женой, улёгся на диван и продолжил читать давно начатую книгу — биографию Фейнмана. Давно стемнело, Иван уже начал подрёмывать, когда неожиданно прозвонил домофон.

— Кто там?

— Это я, — ответила Инна. Иван удивился до крайности.

— Что-то случилось?

— Ты меняпустишь? — она говорила необычно, совсем по-новому.

Бессонов поспешно нажал на кнопку и сразу же открыл дверь. Инна вошла — нет, не вошла, ввалилась и швырнула сумку в угол. Потом рывком сняла с себя и бросила на пол дублёнку, скинула сапоги — вот это номер!

— Всё-таки расскажи, что случилось, — повторил он.

Инна протопала в комнату и села на своё обычное место — в кресло, которое стояло ещё у них в старой квартире. Оно и к Ивану-то попало благодаря Инне, так как при окончательном развозе мебели она грузчикам тихо приказала нести его в ту машину, которая шла на ЖБИ. Иван сел рядом на стул. Немедленно после этого Инна заговорила и Иван учуял, что она нетрезва — но не просто позволила себе бокальчик. Разило от неё так, как будто она выпила бутылку — как, впрочем, и случилось.

— Ваня, я не могу тебе дать денег на операцию, — сказала Инна неестественно громким голосом.

Иван молча ждал, хотя сердце резко ухнуло вниз. Инна, однако, не торопилась продолжать. Она вызывающе смотрела на брата, но ничего не говорила.

— Инна, что произошло? — не выдержал Иван.

— Ты новости смотрел?

— Нет, у меня нет телевизора. Ты же знаешь.

— Да как ты вообще живёшь! — грубо крикнула Инна. — Разве так можно?

И снова замолчала. Наконец, чуть снизив тон, поведала:

— Из центра позвонили. Завтра губера снимают, нового назначают — врио. Но он потом и останется.

— И что?

— Не понимаешь?

— Нет.

— Правительство меняется. Полностью. Переназначат пару-тройку, но меня среди них не будет. Точно сказали.

— И это значит, что...

— Это значит, что я в отставке. Двадцать один год безупречной госслужбы псу под хвост. Я без-ра-бот-на-я. Инна Иннокентьевна Карпова теперь никто. Википедия победила.

— Ч-ч-чёрт, а что случилось? Почему губера, почему вас?

— Слушай, — внезапно трезво сказала Инна. — Это всё политика. Что-то мутят, что-то рубят. А мы — щепки. Понимаешь, мы ни при чём. Но вот приходишь ты на новое место работы, а там ручка осталась от предшественника. Зачем тебе писать чужой ручкой, у тебя своя есть. Так и мы. Как говорится, ничего личного.

— Вы же люди, а не ручки.

— Для кого? Для тебя — да, несомненно, — Инна снова заговорила пьяным тоном. — А для этих кто же мы ещё, если не ручки? Рабочий материал. Или хуже: отработанный. Я даже подходить ни к кому не буду, говорить, просить. Всё бесполезно.

— А может, тебя заместителем оставят? — Иван знал, что зарплата у Инны после назначения министром хотя и выросла, но не на двадцать порядков.

— Тут как раз хитро. В теории могут. Но всех, кто в министерствах работают, трогать не будут. Или будут, но не сейчас. А значит, чтобы остаться, надо интриговать и подсиживать. Ну и кого? Как я могу подсидеть Волкова или Абысову? Мы десять лет вместе. Помнишь, как у Булгакова — «я московский студент». У советских собственная гордость. А я советская. Как говорит Полина, в полный рост.

— Круто тебя... — сказал Иван, не зная, как реагировать.

— Меня? Это всё полная чухня. Тебя! Вот кого они подставили. Деньги-то на обследование и таблетки твои откуда теперь взять?

— Да о чём ты говоришь! Ничего со мной не случится...

— Ах, не случится! Дубиноголовый ты мой. А знаешь, что заботиться о тебе — мой священный долг?

— Я понимаю, я твой брат, но...

— Да что ты несёшь! Брат-то, конечно, брат. Но ты же ничего не знаешь. Ни-че-го. Как с тобой говорить, я не понимаю. Ты же полный debil.

— Инна, ты бы выразилась пояснее. А то я понимаю лишь то, что ты нажралась в дрова, — сказал Иван, подавляя раздражение.

— М-м-м... Ну да, ты прав. В дрова. Наверное, в первый раз в жизни, как ты думаешь? Короче, когда мама умирала, она мне велела следить за тобой. Знаешь, такой завет, что ли. Завещание моральное. Потому что мама-то поумнее была нас с тобой, и видела, что ты сам не выплывешь.

— Куда не выплыву?

— Никуда. Потонешь в жизни. Поэтому я и Рите тебя отдала без опаски. Я видела — она, конечно, дура дурой, причём злая дура, но тебя не бросит, будет пилить, но всё равно продолжать заботиться о тебе.

— Это она-то не бросит? А она что сделала?

— Ну да, — рявкнула Инна (она что, и кричать умеет?), — бросила! Но я искренне не предполагала такого исхода. Я заблуждалась от всей души.

— Как будто мне от этого легче...

— Ну, — Инна выматерилась (ещё одно неслыханное действие). — Но сейчас-то дело гораздо серьезнее. Что там твоя Рита. Неважно даже то, что ты, похоже, уже сантехника вызвать не сможешь, потому что боишься. Тут на кону совсем другое стоит, чего никто не ожидал.

— Ты о чём?

— Да о больнице, козлик. О сердце твоём. Понимаешь, это моя задача — найти деньги. Потому что этого хочет наша мама. И я найду, клянусь!

— Как она этого хочет? Ты что, слышишь голоса? — язвительно спросил Иван.

— Какой же ты тупой! Фу. Я даже общаться с тобой не буду больше.

Инна демонстративно отвернулась и закрыла глаза. Иван решил её не беспокоить. И, чтобы чем-то занять себя, пошёл на кухню и поставил на плиту чайник (электрического у него отродясь не водилось). Вернувшись в комнату, обнаружил, что Инна задремала. Ну и хорошо, пусть поспит немного, подумал было Иван, но в тот же момент она проснулась.

— Вань, а знаешь, кто мне сейчас приснился?

— Мама?

— Нет, Кирилл.

— Какой ещё Кирилл?

— Чигирёв. Мой одноклассник. Ты его не помнишь, наверное.

— Да, не помню. Я твоих и тогда почти не знал.

— А Кирилл в одиннадцатом классе мне нравился. Я в него влюблена была как кошка.

— Трогательная история, Иннуль.

— Да что ты шутишь тут! — разозлилась Инна. Хмельных интонаций в голосе чуть поубавилось, однако агрессии меньше не стало. — Ты хоть что-то понимаешь в этой жизни? Мне парень нравился, а я к нему даже подойти не

могла!

— Так отчего не могла-то?

— Он был какой-то слишком худой. И в очках круглых, под Леннона косил. И не стригся, с хаером ходил. И на гитаре играл.

— Так что тебя смущало-то? Не понимаю.

— У тебя мозги ссохлись. Ничего меня не смущало в нём. Подумай, кто так же выглядел в те годы?

Иван задумался не на шутку. И вдруг в сумасшедшей догадке посмотрел на сестру.

— Ты хочешь сказать... Он был как я?

— Понял, с ума сойти! Да, родной, как ты.

— Но я не косил под Леннона...

— Правда, сознательно не косил, но очки были такие же, помнишь? И всё остальное совпадает. Как я могла заигрывать с парнем, который был как ты?

— Тебя, думаешь, кто-то осудил бы?

— Господи, ты только сейчас такой идиот или я после алкоголя наконец узрела твоё естество? Кстати, у меня ещё есть.

Инна протопала к сумке и достала бутылку коньяка, на дне которой виднелось немного тёмной жидкости. Сделала мощный глоток и вернулась на место, попутно выключив свет. Иван безмолвно следил за её действиями.

— Никто не осудил бы. Но я сама не могла. Просто не могла. Вы были чересчур похожи, и если бы я решилась его поцеловать, я бы думала, что целую тебя. Понимаешь, Вань, мне сейчас приснилось, что я его до сих пор люблю. И так сжалось в груди! — Её душили слезы. — А вдруг у нас бы с ним всё получилось? Не так, как с Лёшкой? — Её глаза стали совсем пьяными. — Знаешь, я вот напилась, жуть просто, но зато чувствую что мне будто семнадцать А ты... как будто Кирилл.

— Почему «как будто»? Я и есть Кирилл, — неожиданно для самого себя сказал Иван, задыхаясь в нестерпимой, ранее неведанной, колоссальной и беспощадной жалости. Жалость эта появилась извне, без его желания, зато влияние имела абсолютное. Иван подошёл к сестре близко-близко и заглянул в глаза.

— Как? — озадаченно спросила Инна.

— А вот так.

— Кирюша... — зачарованно и беззащитно, мгновенно ему поверив, шепнула Инна и потянулась вперёд. А стоящий перед ней — Иван? Кирилл? — уже не видел иного пути...

Паровоз, летящий с горы со скоростью восемьдесят восемь миль в час, а после — время, остановившееся, застывшее, замороженное.

Время снова пошло. Иван очнулся в три сорок три. В голове свистопляска и безумие. Следуя инстинктам, аккуратно перелез, под бременем невыносимой мысли стараясь не коснуться взглядом ее лица. Оделся-обулся и выскочил на лестничную площадку. Машинально достал ключ и нажал им кнопку вызова лифта. Тот загрохотал где-то внизу. Стоять и ждать было невыносимо — Иван бросился вниз по лестнице.

К автобусам — налево, но он побежал направо, к центру. Не думая о цели движения, не разбирая дороги — лишь бы бежать, без оглядки, подальше, как будто навсегда. Минут через тридцать отчаянного побега в никуда он чувствовал только тягостные удары о грудную клетку, стук сердца в ушах и влагу на горящем лице.

— До центра подбросить? Всего за двадцатку? — услышал он оклик из притормозившей маршрутки. Иван нащупал в кармане полтинник, открыл дверь и сел. Водитель — парень лет двадцати пяти — немедленно заговорил: — Понимаешь, я после смены прямо на газельке поехал в гости, и там чё-то засиделись все... Но не пили, ты не думай. Я всегда только по трезвяку езжу. А я вижу — идёт человек, так чего бы не подвезти, мне же всё равно в центр. Тебе куда?

Иван не отвечал. Водитель удивился:

— Немой, что ли? Ну ладно. Довезу до «Советской», у поворота на набережную выйдешь, ладно? — Иван нашёл в себе силы кивнуть. — Вот и хорошо. А может, ты и правда немой? Нет? Ну, как знаешь. А я у брательника был, у Папки. У жены его день рождения. Баба, конечно, себе на уме, мне всё время говорит, что я мухлюю с деньгами за проезд, но, вроде как, Папку она любит. А мне-то что? Пусть языком мелет, главное, чтобы его любила. Мы с ним — во! (Он зачем-то погрозил кулаком.) С детства не разлей вода. Вступаемся друг за друга — смерть! У тебя есть брат? Эх, мужик, не знаешь ты, значит, что такое семейные узы! Это ж, блин, самое главное.

Есть ли смысл анализировать произошедшее? Иван машинально пытался сформулировать, что требуется доказать, но тут же понял, что доказывать нечего. Случайный — *рандомный* — набор символов сложился в такую хитрую комбинацию, что весь мир сошёл с орбиты... Он вспомнил, как десятилетнюю Инну у школы стал задирать незнакомый старшеклассник, отобрав ранец и говоря ей какие-то гадости. А он, Иван, утратив всякий страх, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, с разбегу повалил обидчика сестры на землю и неумело, но сильно стал бить по лицу. Хорошо, что разняли... А после побега Карасёва он по первому зову примчался к сестре, и она полночи рыдала у него на плече. А ещё...

Мысль о произошедшем заливала сердце холодным ужасом. Порыв его милосердия был чудовищен — аксиоматичность этого утверждения сводила на нет любые оправдания. Но он так ясно почувствовал тогда её тоску и желание быть, просто быть, что, даже ценой своей жизни не смог бы в тот миг отказать ей. Что делать теперь, он не знал. Хотя и надеялся, что у неё всё теперь пойдёт как надо.

— Ну, будь здоров, не кашляй! — услышал вдруг Иван. Приехали? Вроде, да. Надо выходить. Уже открыв дверь, Иван вдруг спросил:

— У вас не найдётся сигаретки?

Водитель удивился — пассажир внезапно оказался не немым — но достал пачку.

— А зажигалка?

— Прикурить, что ли?

— Нет, дайте мне зажигалку просто.

— Не могу, у меня одна только.

— Ну вот, возьмите сдачу свою обратно, только зажигалку отдайте. Мне очень надо!

— Чувак, ты болен?

— Надо мне, очень надо.

— Ладно. Гони тридцатник.

Иван выполз из маршрутки и запал по набережной. От рассказа водителя сердце, и без того не очень уверенно стучащее, совсем распахалось. Бессонов дошёл до лестницы, ведущей прямо к воде, спустился вниз и присел на ступеньку. Он действительно не курил (в юности несколько месяцев пробаловался), но сейчас захотел до помешательства. Он засунул сигарету в рот и застыл так на пару минут. Потом захлопал по куртке, пытаясь нащупать выкупленную зажигалку. Вспомнил, что положил её в задний карман. Стремительно вскочил и вдруг почувствовал нестерпимую боль в сердце. Одна нога его предательски поехала, другой он нелепо взмахнул, упал и непередаваемо больно ударился спиной, силой инерции перевалился на бок и кулом грохнулся в реку. Лёд на реке, такой прочный на первый взгляд, с готовностью хрупнул под телом Ивана и принял его под себя, а затем, будто издеваясь — только непонятно над кем — мгновенно замаскировал образовавшуюся лунку мелкими льдинками, да так прочно, что через полчаса заподозрить хоть какую-то активность на этом месте казалось бы полностью невозможным, совершенно, категорически.

Инну разбудил звонок мобильного. Кто-то названивал с нескромной настойчивостью. Она открыла глаза и довольно потянулась. Да-а, столько пить нельзя, конечно. Интересно, что она успела наплести Ване? О маме говорили... А потом?

Телефон умолк, но через секунду запиликал снова. Иван, очевидно, ушёл на работу, поэтому Инна вскочила и, в чём была, побежала за телефоном.

— Да, алло. Да, это я. Кто? Что? Вы серьёзно?! Вот так новости... Да, подъеду, конечно. А который сейчас час? Ого. Дадите мне немного времени? Я, честно говоря, проспала. Мне надо бы заехать домой. Через час, не больше... Красота-то какая! — окончив разговор, сказала Инна самой себе.

Редакция / Redaktion:

Главный редактор/Chefredakteur: **Григорий Аросев / Grigorii Arosev**

Редакторы/Fachredakteure:

Поэзия / Poesie: **Женя Маркова / Genia Markova**

Проза / Prosa: **Дмитрий Вачедин / Dmitry Vachedin**

Переводы / Übersetzungen: **Эдуард Лурье / Eduard Lurje**

Связи с общественностью / Public Relations: **Мария Аросева / Maria Aroseva**

Художник / Illustrationen: **Лилия Лурье / Lilia Lurje**

Тексты на немецком языке / Deutsche Texte: **Герд Буссинг / Gerd Bussing**

Вёрстка / Layout und Satz: InterMedienCenter

Herausgegeben von der Redaktion der Zeitschrift

Diese Zeitschrift ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

www.simon-bw.de / www.berlin-berega.de / berlin.berega@gmail.com

Copyright Texte © 2017 liegt bei Autoren

Alle Rechte vorbehalten